Иван Шмелёв
БОГОМОЛЬЕ
ЛЕТО ГОСПОДНЕ

Иван Сергеевич Шмелев
Богомолье. Лето Господне

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11828135
Богомолье. Лето Господне: [сборник] / Иван Шмелёв. – Изд. 2-е.:
ДАРЪ; Москва; 2013
ISBN 978-5-485-00303-6

Аннотация

Иван Сергеевич Шмелев (1873–1950) – величайший русский писатель. В его произведениях открывается уникальный мир простого русского человека, верующего христианина, вся жизнь которого проникнута евангельским духом, согрета простой и глубокой верой. В данный сборник вошли замечательные романы «Богомолье» и «Лето Господне».

Содержание

Богомолье 5
Царский золотой 5
Сборы 24
Москвой 38
Богомольный садик 53
На святой дороге 69
Конец ознакомительного фрагмента. 90

Иван Шмелев

Богомолье. Лето Господне

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви № ИС 11-106-0512

Богомолье

Священной памяти короля Югославии Александра I[1] благоговейно посвящает автор.

О вы, напоминающие о Господе, —
не умолкайте!
Исайи, гл. 62, ст. 6

Царский золотой

Петровки, самый разгар работ, – и отец целый день на стройках. Приказчик Василь Василин и не ночует дома, а все в артелях. Горкин свое уже отслужил – «на покое», и его тревожат только в особых случаях, когда требуется свой глаз. Работы у нас большие, с какой-то «неустойкой»: не кончишь к сроку – можно и прогореть.

Спрашиваю у Горкина:

– Это что же такое – «прогореть»?

– А вот скинут последнюю рубаху – вот те и прогорел! Как прогорают-то… очень просто.

---

[1] Александр I Карагеоргиевич (1888–1934) – король Югославии. Симпатизировал и помогал русским эмигрантам. Был убит террористом, представителем фашистской организации хорватов-националистов. – *Здесь и далее прим. ред.*

А с народом совсем беда: к покосу бегут домой, в деревню, – и самые-то золотые руки. Отец страшно озабочен, спешит-спешит, летний его пиджак весь мокрый, пошла жара, Кавказка все ноги отмотала по постройкам, с утра до вечера не расседлана. Слышишь – отец кричит:

– Полуторное плати, только попридержи народ! Вот бедовый народишка… рядились, черти, – обещались не уходить к покосу, а у нас неустойки тысячные… Да не в деньгах дело, а себя уроним. Вбей ты им, дуракам, в башку… втрое ведь у меня получат, чем со своих покосов!

– Вбивал-с, всю глотку оборвал с ними… – разводит беспомощно руками Василь Василии, заметно похудевший, – ничего с ими не поделаешь, со спокон веку так. И сами понимают, а… гулянки им будто, травкой побаловаться. Как к покосу – уж тут никакими калачами не удержать, бегут. Воротятся – приналягут, а покуда сбродных попринаймем. Как можно-с, к сроку должны поспеть, будь покойны-с, уж догляжу.

То же говорит и Горкин, а он все знает: покос – дело душевное, нельзя иначе, со спокон веку так; на травке поотдохнут – нагонят.

Ранним утром солнце чуть над сараями, а у крыльца уже шарабан. Отец сбегает по лестнице, жуя на ходу калачик, прыгает на подножку, а тут и Горкин, чего-то ему надо.

– Что тебе еще?.. – спрашивает отец тревожно, раздраженно. – Какой еще незалад?

– Да все, слава Богу, ничего. А вот, хочу вот к Сергию Преподобному сходить помолиться, по обещанию… взад-назад.

Отец бьет вожжой Чалого и дергает на себя. Чалый взбрыкивает и крепко сечет по камню.

– Ты еще… с пустяками! Так вот тебе в самую горячку и приспичило? Помрешь – до Успенья погодишь?..

Отец замахивается вожжой – вот-вот укатит.

– Это не пустяки, к Преподобному сходить помолиться… – говорит Горкин с укоризной, выпрастывая запутавшийся в вожже хвост Чалому. – Теплую бы пору захватить. А с Успенья ночи холодные пойдут, дожжи… уж нескладно итить-то будет. Сколько вот годов все сбираюсь…

– А я тебя держу? Поезжай на машине, в два дня управишься. Сам понимаешь, время горячее, самые дела, а… как я тут без тебя? Да еще, не дай Бог, Косой запьянствует?..

– Господь милостив, не запьянствует… он к зиме больше прошибается. А всех делов, Сергей Иваныч, не переделаешь. И годы мои такие, и…

– А, помирать собрался?

– Помирать – не помирать, это уж Божия воля, а… как говорится, делов-то пуды, а *она* – туды!

– Как? кто?.. Куды – туды?.. – спрашивает с раздражением отец, замахиваясь вожжой.

– Известно, кто. *Она* ждать не станет – дела ли, не дела ли, – а все покончит.

Отец смотрит на Горкина, на распахнутые ворота, кото-

рые придерживает дворник, прикусывает усы.

– Чудак… – говорит он негромко, будто на Чалого, машет рукой чему-то и выезжает шагом на улицу.

Горкин идет расстроенный, кричит на меня в сердцах: «Тебе говорю, отстань ты от меня, ради Христа!» Но я не могу отстать. Он идет под навес, где работают столяры, отшвыривает ногой стружку и чурбачки и опять кричит на меня: «Ну, чего ты пристал?..» Кричит и на столяров чего-то и уходит к себе в каморку. Я бегу в тупичок к забору, где у него окошко, сажусь снаружи на облицовку и спрашиваю все то же: возьмет ли меня с собой. Он разбирается в сундучке, под крышкой которого наклеена картинка – «Троице-Сергиева Лавра», лопнувшая по щелкам и полинявшая. Разбирается и ворчит:

– Не-эт, меня не удержите… к Серги-Троице я уйду, к Преподобному… уйду. Все я да я… и без меня управитесь. И Ондрюшка меня заступит, и Степан справится… по филенкам-то приглядеть, велико дело! А по подрядам сновать – прошла моя пора. Косой не запьянствует, нечего бояться… коли дал мне слово-зарок – из уважения соблюдет. Как раз самая пора, теплынь, народу теперь по всем дорогам… Не-эт, меня не удержите.

– А меня-то… обещался ты, а?.. – спрашиваю я его и чувствую горько-горько, что меня-то уж ни за что не пустят. – А меня-то, пустят меня с тобой, а?..

Он даже и не глядит на меня, все разбирается.

– Пустят тебя, не пустят… – это не мое дело, а я все равно уйду. Не-эт, не удержите… всех, брат, делов не переделаешь, не-эт… им и конца не будет. Пять годов, как Мартына схоронили, все сбираюсь, сбираюсь… Царица Небесная как меня сохранила, – показывает Горкин на темную иконку, которую я знаю, – я к Иверской сорок раз сходить пообещался, и то не доходил, осьмнадцать ходов за мной. И Преподобному тогда пообещался. Меня тогда и Мартын просил-помирал, на Пасхе как раз пять годов вышло вот: «Помолись за меня, Миша… сходи к Преподобному». Сам так и не собрался, помер. А тоже обещался, за грех…

– А за какой грех, скажи… – упрашиваю я Горкина, но он не слушает.

Он вынимает из сундучка рубаху, полотенце, холщовые портянки, большой привязной мешок, заплечный.

– Это вот возьму, и это возьму… две сменки, да… И еще рубаху, расхожую, и причащальную возьму, а ту на дорогу, про запас. А тут, значит, у меня сухарики… – пошумливает он мешочком, как сахарком, – с чайком попить-пососать, дорога-то дальная. Тут, стало быть, у меня чай-сахар… – сует он в мешок коробку из-под икры с выдавленной на крышке рыбкой, – а лимончик уж на ходу прихвачу, да… ножичек, поминанье… – сует он книжечку с вытесненным на ней золотым крестиком, которую я тоже знаю, с раскрашенными картинками, как исходит душа из тела и как она ходит по мытарствам, а за ней светлый Ангел, а внизу, в красных язы-

ках пламени, зеленые нечистые духи с вилами. – А это вот, за кого просвирки вынуть, леестрик… все по череду надо. А это Сане Юрцову вареньица баночку снесу, в квасной послушание теперь несет, у Преподобного, в монахи готовится… от Москвы, скажу, поклончик-гостинчик. Бараночек возьму на дорожку…

У меня душа разрывается, а он говорит и говорит и все укладывает в мешок. Что бы ему сказать такое?..

– Горкин… а как тебя Царица Небесная сохранила, скажи?.. – спрашиваю я сквозь слезы, хотя все знаю.

Он поднимает голову и говорит нестрого:

– Хлюпаешь-то чего? Ну, сохранила… я тебе не раз сказывал. На вот, утрись полотенчиком… дешевые у тебя слезы. Ну, ломали мы дом на Пресне… ну, нашел я на чердаке старую иконку, ту вон… Ну, сошел я с чердака, стою на втором ярусу… – дай, думаю, пооботру-погляжу, какая Царица Небесная, лика-то не видать. Только покрестился, локотком потереть хотел… – ка-ак загремит все… ничего уж не помню, взвило меня в пыль!.. Очнулся в самом низу, в бревнах, в досках, все покорежено… а над самой над головой у меня – здоровенная балка застряла! В плюшку бы меня прямо!.. – вот какая. А робята наши, значит, кличут меня, слышу: «Панкратыч, жив ли?» А на руке у меня – Царица Небесная! Как держал, так и… чисто на крылах опустило. И не оцарапало нигде, ни царапинки, ни синячка… вот ты чего подумай! А это стену неладно покачнули – балки из гнезд-

то и вышли, концы-то у них сгнили… как ухнут, так все и проломили, накаты все. Два яруса летел, с хламом… вот ты чего подумай!

Эту иконку, я знаю, Горкин хочет положить с собой в гроб – душе чтобы во спасение. И все я знаю в его каморке: и картинку Страшного Суда на стенке, с геенной огненной, и «Хождения по мытарствам преподобной Феодоры», и найденный где-то на работах, на сгнившем гробе, медный, литой, очень старинный крест с «адамовой главой», страшной… и пасочницу Мартына-плотника, вырезанную одним топориком. Над деревянной кроватью, с подпалинами от свечки, как жгли клопов, стоят на полочке, к образам, совсем уже серые от пыли просвирки из Иерусалима-града и с Афона, принесенные ему добрыми людьми, и пузыречки с напетым маслицем, с вылитыми на них угодничками. Недавно Горкин мне мазал зуб, и стало гораздо легче.

– А ты мне про Мартына все обещался… топорик-то у тебя висит вон! С ним какое чудо было, а? Скажи-и, Горкин!..

Горкин уже не строгий. Он откладывает мешок, садится ко мне на подоконник и жестким пальцем смазывает мои слезинки.

– Ну, чего ты расстроился, а? Что ухожу-то… На доброе дело ухожу, никак нельзя. Вырастешь – поймешь. Самое душевное это дело – на богомолье сходить. И за Мартына помолюсь, и за тебя, милок, просвирку выну, на свечку подам, хороший бы ты был, здоровья бы те Господь дал. Ну, куда

тебе со мной тягаться, дорога дальняя, тебе не дойти… по машине вот можно, с папашенькой соберешься. Как так я тебе обещался?., я тебе не обещался. Ну, пошутил, может…

– Обещался ты, обещался… тебя Бог накажет! вот посмотри, тебя Бог накажет!.. – кричу я ему и плачу и даже грожу пальцем.

Он смеется, прихватывает меня за плечи, хочет защекотать.

– Ну что ты какой настойный, самондравный! Ну, ладно, шуметь-то рано. Может, так Господь повернет, что и покатим с тобой по дорожке по столбовой… а что ты думаешь! Папашенька добрый, я его вот как знаю. Да ты погоди, послушай: расскажу тебе про нашего Мартына. Всего не расскажешь… а вот слушай. Чего сам он мне сказывал, а потом на моих глазах все было. И все сущая правда.

– Повел его отец в Москву на роботу… – поокивает Горкин мягко, как все наши плотники, володимирцы и костромичи, и это мне очень нравится, ласково так выходит, – плотники они были, как и я вот, с нашей стороны. Всем нам одна дорожка, на Сергиев Посад. К Преподобному зашли… чугунки тогда и помину не было. Ну, зашли, все честь честью… помолились-приложились, недельку Преподобному поработали топориком, на монастырь, да… пошли к Черниговской, неподалечку, старец там проживал – спасался. Нонче отец Варнава там народ утешает – благословляет, а то до него был, тоже хороший такой, прозорливец. Вот тот старец бла-

гословил их на хорошую роботку и говорит пареньку, Мартыну-то: «Будет тебе талан от Бога, только не проступись!» Значит – правильно живи, смотри. И еще ему так сказал: «Ко мне-то побывай когда».

Роботали они хорошо, удачливо, талан у Мартына великой стал, такой глаз верный, рука надежная… лучшего плотника и не видал я. И по столярному хорошо умел. Ну, понятно, и по филенкам чистяга был, лучше меня, пожалуй. Да уж я те говорю – лучше меня, значит – лучше, ты не перебивай. Ну, отец у него помер давно, он один и стал в людях, сирота. К нам-то, к дедушке твоему покойному, Ивану Иванычу, Царство Небесное, он много после пристал – порядился, а все по разным ходил – не уживался. Ну, вот слушай. Талан ему был от Бога… а *он,* темный-то… – понимаешь, кто? – свое ему, значит, приложил: выучился Мартын пьянствовать. Ну, его со всех местов и гоняли. Ну, пришел к нам роботать, я его маленько поудержал, поразговорил душевно – ровесники мы с ним были. Разговорились мы с ним, про старца он мне и помянул. Велел я ему к старцу тому побывать. А он и думать забыл, сколько годов прошло. Ну, побывал он, ан – старец-то тот и помер уж, годов десять уж. Он и расстроился, Мартын-то, что не побывал-то, наказу его-то не послушал… совестью и расстроился. И с того дела к другому старцу и не пошел, а, прямо тебе сказать, в кабак пошел! И пришел он к нам назад в одной рваной рубашке, стыд глядеть… босой, топорик только при нем. Он без того топо-

рика не мог быть. Топорик тот от старца благословен… вон он самый, висит-то у меня, память это от него мне, отказан. Уж как он его не пропил, как его не отняли у него – не скажу. При дедушке твоем было. Хотел Иван Иваныч его не принимать, а прабабушка твоя Устинья вышла с лестовкой[2]… молилась она все, правильная была по вере… и говорит: «Возьми, Ваня, грешника, приюти… его Господь к нам послал». Ну, взял. А она Мартына лестовкой поучила для виду, будто за наказание. Он три года и в рот не брал. Что получит – к ней принесет, за образа клала.

Много накопил. Подошло ему опять пить, она ему денег не дает. Как разживется – все и пропьет. Стало его бесовать, мы его запирали. А то убить мог. Топор держит, не подступись. Боялся – топор у него покрадут, талан его пропадет. Раз в три года у него болезнь такая нападала. Запрем его – он зубами скрипит, будто щепу дерет, страшно глядеть. Силищи был невиданной… балки один носил, росту – саженный был. Боимся – ну, с топором убегет! А бабушка Устинья войдет к нему, погрозится лестовкой, скажет: «Мартынушка, отдай топорик, я его схороню!» – он ей покорно в руки, вот как.

Накопил денег, дом хороший в деревне себе построил, сестра у него жила с племянниками. А сам вдовый был, бездетный. Ну, жил и жил, с перемогами. Тройное получал! А теперь слушай про его будто грех…

Годов шесть тому было. Роботали мы по храму Христа

---

[2] Лестовка – кожаные четки.

Спасителя, от больших подрядчиков. Каменный он весь, а и нашей роботки там много было… помосты там, леса ставили, переводы-подводы, то-се… обшивочки, и под кумполом много было всякого подмостья. Приехал государь поглядеть, спорные были переделки. В семьдесят в третьем, что ли, годе, в августе месяце, тёпло еще было. Ну, все подрядчики по такому случаю артели выставили, показаться государю, Царю-Освободителю, Лександре Николаичу нашему [3]. Приодели робят в чистое во все. И мы с другими, большая наша была артель, видный такой народ… худого не скажу, всегда хорошие у нас харчи были, каши не поедали – отваливались. Вот государь посмотрел всю отделку, доволен остался. Выходит с провожатыми, со всеми генералами и князьями. И наш, стало быть, Владимир Ондреич, князь Долгоруков, сними, генерал-губернатор. Очень его государь жаловал. И наш еще Лександра Лександрыч Козлов, самый обер-польцмейстер, бравый такой, дли-инные усы, хвостами, хороший человек, зря никого не обижал. Ну, которые начальство при постройке – показывают робят, робочий народ. Государь поздоровался, покивал, да… сияние от него такое, всякие медали… «Спасибо, – говорит, – молодцы».

Ну, «ура» покричали, хорошо. К нам подходит. А Мартын первый с краю стоял, высокий, в розовой рубахе новой, борода седая, по сих пор, хороший такой ликом, благочестивый.

---

[3] Речь идет об императоре Александре II, манифестом которого от 19 февраля 1861 г. было отменено крепостное право.

Государь и приостановился, пондравился ему, стало быть, наш Мартын. Хорош, говорит, старик… самый русской! А Козлов-то князю Долгорукову и доложи: «Может государю его величеству глаз свой доказать, чего ни у кого нет».

А он, стало быть, про Мартына знал. Роботали мы в доме генерала-губернатора, на Тверской, против каланчи, и Мартын князю-то секрет свой и доказал. А по тому секрету звали Мартына так: «Мартын, покажи аршин!» А вот слушай. Вот князь и скажи государю, что так, мол, и так, может удивить. Папашенька перепугался за Мартына, и все-то мы забоялись – а ну проштрафится! А уж слух про него государю донесен, не шутки шутить. Вызывают, стало быть, Мартына. Государь ему и говорит, ничего, ласково: «Покажи нам свой секрет».

«Могу, – говорит, – ваше царское величество… – Мартын-то, – дозвольте мне реечку».

И не боится. Ну, дали ему реечку.

«Извольте проверить, – говорит, – никаких помет нету».

Генералы проверили – нет помет. Ну, положил он реечку ту, гладенькую, в полвершочка шириной, на доски, топорик свой взял. Все его обступили, и государь над ним встал…

Мартын и говорит: «Только бы мне никто не помешал, под руку не смотрел… рука бы не заробела».

Велел государь маленько пораздаться, не наседать. Перекрестился Мартын, на руки поплевал, на реечку пригляделся, не дотронулся, ни-ни… а только так вот над ней пядью помотал-помотал, привесился… – р-раз топориком! – мету

и положил, отсек.

«Извольте, – говорит, – смерить, ваше величество».

Смерили аршинником клейменым – как влитой! Государь даже плечиками вскинул. «Погодите», – говорит Мартын-то наш. Провел опять пядью над обрезком, – раз, раз, раз! – четыре четверти проложил-пометил. Смерили – ни на волосок прошибки! И вершочки, говорит, могу. И проложил. Могу, говорит, и до восьмушек. Государь взял аршинник его, подержал время…

«Отнесите, – говорит, – ко мне в покои сию диковинку и запишите в царскую мою книгу беспременно!»

Похвалил Мартына и дал ему из кармана в брюках собственный золотой! Мартын тут его и поцеловал, золотой тот. Ну, тут ему наклали князья и генералы, кто целковый, кто трешну, кто четвертак… – попировали мы. А Мартын золотой тот царский под икону положил, навеки.

Ну, хорошо. Год не пил. И опять на него нашло. Ну, мы от него все поотобрали, а его заперли. Ночью он таки сбег. С месяц пропадал – пришел. Полез я под его образа глядеть – золотого-то царского и нет, пропил! Стали мы его корить: «Царскую милость пропил!»

Он божится: не может того быть! Не помнит: пьяный, понятно, был. Пропил и пропил. С того сроку он и пить кончил. Станем его дражнить: «Царский золотой пропил, доказал свой аршин!»

Он прямо побелеет, как не в себе. «Креста не могу про-

пить, так и против царского дару не проступлюсь!»

Помнил, чего ему старец наказывал – не проступись! А вышло-то – преступился будто. Ему не верят, а он на своем стоит. Грех какой! Ладно. Долго все тебе сказывать, другой раз много расскажу. И вот простудился он на ердани, закупался с немцем с одним, – я потом тебе расскажу. Три месяца болел. На Великую Субботу мне и шепчет:

«Помру, Миша… старец-то тот уж позвал меня… – что ж, говорит, Мартынушка, не побываешь?» Во сне ему, стало быть, привиделся. «Дай-ка ты мне царский золотой… – говорит, – он у меня схоронен… а где – не могу сказать, затмение во мне, а он цел. Поищи ты, ради Христа, хочу поглядеть, порадоваться – вспомянуть».

И слова уж путает, затмение на нем. «Я, – говорит, – от себя в душу схоронил тогда… не может того быть, цел невредим».

Это к тому он – не пропил, стало быть. Сказал я папашеньке, а он пошел к себе и выносит мне золотой. Велел Мартыну дать, будто нашли его, не тревожился чтобы уж для смерти. Дал я ему и говорю: «Верно сказывал, сыскался твой золотой».

Так он как же возрадовался – заплакал! Поцеловал золотой и в руке зажал. Соборовали его, а он и не разжимает руку-то, кулаком, вот так вот, с ним и крестился, с золотым-то, рукой его уж я сам водил. На третий день Пасхи помер хорошо, честь честью. Вспомнили про золотой, стали отымать,

а не разожмешь, никак! Уж долотом развернули, пальцы-то. А он прямо скипелся, влип в самую долонь, в середку, как в воск, закраишков уж не видно. Выковыряли мы, подняли… а в руке-то у него, на самой на долони, – орел! Так и врезан, синий, отчетливый… царская самая печать. Так и не растаял, не разошелся, будто печать приложёна, природная. Так мы его и похоронили, орленого. А золотой тот папашенька на сорокоуст подать приказал, на помин души. Хорошо… Что ж ты думаешь!.. Через год случилось: стали мы полы в спальнях перестилать – и что ж ты думаешь!.. Под его изголовьем, где у него образок стоял… доски-то как подняли… на накате на черном… *мот* самый золотой лежит-светит!.. а?! Самый тот, царский, новешенькой-разновешенькой! Все сразу и признали. То ли он его обронил, как с-под иконы-то тащил пропивать, себя не помнил… то ли и вправду от себя спрятал, в щель на накат спустил… – «в душу-то от себя схоронил», сказывал мне тогда, помирал… Тут уж он перед всеми и оправдался: не проступился, вот! И все так мы обрадовались, панихиду с певчими по нем служили… хорошо было, весело так, «Христос Воскресе» пели, как раз на Фоминой вышло-то. Подали тот золотой папашеньке… подержал-подержал…

«Отдать, – говорит, – его на церкву, на сорокоуст! Пускай, – говорит, – по народу ходит, а не лежит занапрасно… Это, – говорит, – золотой счастливый, непропащий!»

Так мне его желалось обменить, для памяти! Да подумал

– пущай его по народу ходит, верно… зарочный он, не простой. И отдали. Так вот теперь и ходит по народу, нечуемо. Ну, как же его узнаешь… нельзя узнать. Вот те и рассказал. Вот, значит, и пойду к Преподобному, зарок исполню, Мартына помяну… Ну, вот… и опять захлюпал! А ты постой, чего я тебе скажу-то…

Я неутешно плачу. Жалко мне и Мартына, что он помер… так жалко! И что того золотого не узнаю, и что Горкин один уходит…

Приезжает отец – что-то сегодня рано, – кричит весело на дворе: «Горкин-старина!» Горкин бежит проворно, и они долго прохаживаются по двору. Отец веселый, похлопывает Горкина по спине, свистит и щелкает. Что-нибудь радостное случилось? И Горкин повеселел, что-то все головой мотает, трясет бородкой, и лицо ясное, довольное. Отец кричит со двора на кухню:

– Все к ботвинье, да поживей! Там у меня в кулечке, разберите!..

И обед сегодня особенный. Только сели, отец закричал в окошко:

– Горка-старина, иди с нами ботвинью есть! Ну-ну, мало что ты обедал, а ботвинья с белорыбицей не каждый день… не церемонься!

Да, обед сегодня особенный: сидит и Горкин, пиджачок надел свежий и голову намаслил. И для него удивительно,

почему это его позвали: так бывает только в большие праздники. Он спрашивает отца, конфузливо потягивая бородку:

– Это на знак чего же… парад-то мне?

– А вот понравился ты мне! – весело говорит отец.

– Я уж давно пондравился… – смеется Горкин, – а хозяин велит – отказываться грех.

– Ну, вот и ешь белорыбицу.

Отец необыкновенно весел. Может быть, потому, что сегодня, впервые за столько лет, распустился белый, душистый такой цветочек на апельсинном деревце, его любимом?

Я так обрадовался, когда перед обедом отец кликнул меня из залы, схватил под мышки, поднес к цветочку и говорит: «Ну нюхай, нюня!»

И стол веселый. Отец сам всегда делает ботвинью. Вокруг фаянсовой, белой, с голубыми закраинками, миски стоят тарелочки, и на них все веселое: зеленая горка мелко нарезанного луку, темно-зеленая горка душистого укропу, золотенькая горка толченой апельсинной цедры, белая горка струганого хрена, буро-зеленая – с ботвиньей, стопочка тоненьких кружочков, с зернышками – свежие огурцы, мисочки льду хрустального, глыба белуги, в крупках, выпирающая горбом в разводах, лоскуты нежной белорыбицы, сочной и розовато-бледной, пленочки золотистого балычка с краснинкой. Все это пахнет по-своему, вязко, свежо и остро, наполняет всю комнату и сливается в то чудесное, которое именуется – ботвинья. Отец, засучив крепкие манжеты в крупных зо-

лотых запонках, весело все размешивает в миске, бухает из графина квас, шипит пузырьками пена. Жара: ботвинья теперь – как раз.

Все едят весело, похрустывая огурчиками, хрящами – хру-хру. Обсасывая с усов ботвинью, отец все чего-то улыбается… Чему-то улыбается?

– Так… к Преподобному думаешь? – спрашивает он Горкина.

– Желается потрудиться… давно сбираюсь… – смиренно-ласково отвечает Горкин, – как скажете… ежели дела дозволят.

– Да, как это ты давеча?.. – посмеивается отец. – «Делов-то пуды, а *она* – туды»?! Это ты правильно, мудрователь. Ешь, брат, ботвинью, ешь – не тужи, крепки еще гужи! Так когда же думаешь к Троице, в четверг, что ли, а? В четверг выйдешь – в субботу ко всенощной поспеешь.

– Надо бы поспеть. С Москвой считать, семь десятков верст… к вечерням можно поспеть и не торопиться… – говорит Горкин, будто уже они решили.

У меня расплывается в глазах: ширится графин с квасом, ширятся-растекаются тарелки, и прозрачные, водянистые узоры текут на меня волнами. Отец подымает мне подбородок пальцем и говорит:

– Чего это ты нюнишь? С хрену, что ль? Корочку понюхай.

Мне делается еще больней. Чего они надо мной смеются! Горкин – и тот смеется. Гляжу на него сквозь слезы, а он

подмаргивает, слышу – толкает меня в ногу.

– Может, и мы подъедем… – говорит отец, – давно я не был у Троицы.

– Вот, хорошее дело, помолитесь… – говорит Горкин радостно.

– Мы-то по машине, а его уж… – глядит на меня отец, прищурясь, – Бог с ним, бери с собой… пускай потрудится. С тобой отпустить можно.

Верить – не верить?..

– Уж будьте покойны, со мной не пропадет… радость-то ему какая! – радостно отвечает Горкин, и опять растекается у меня в глазах. Но это уже другие слезы.

– Ну, пусть так и будет. И Антипа с вами отпускаю… Кривую на подмогу, потащится. Устанет – поприсядет. Верно, брат… всех делов не переделаешь. И передохнуть надо…

Верить – не верить?.. Я знаю: отец любит обрадовать.

Горкин моргает мне, будто хочет сказать, как давеча: «А что я те сказал! Папашенька добрый, я его вот как знаю!..»

Так вот о чем они говорили на дворе! И оттого стал веселый Горкин? И почему это так случилось?..

Я что-то понимаю, но не совсем. И почему все отец смеется, встряхивает хохлом и повторяет: «Всех делов, брат, не переделаешь… верно! Делов-то пуды, а *она* – туды!..»

Кто же это – *она!*..

Я что-то понимаю, но не совсем.

Сборы

И на дворе, и по всей даже улице известно, что мы идем к Сергию Преподобному, пешком. Все завидуют, говорят: «Эх, и я бы за вами увязался, да не на кого Москву оставить!» Все теперь здесь мне скучно, и так мне жалко, что не все идут с нами к Троице. Наши поедут по машине, но это совсем не то. Горкин так и сказал: «Эка, какая хитрость, по машине… а ты потрудись Угоднику, для души! И с машины – чего увидишь? А мы пойдем себе полегонечку, с лесочка на лесочек, по тропочкам, по лужкам, по деревенькам, – всего увидим. Захотел отдохнуть – присел. А кругом все народ крещеный, идет-идет. А теперь земляника самая, всякие цветы, птички тебе поют… – с машиной не поравнять никак».

Антипушка тоже собирается, ладит себе мешочек. Он сидит на овсе в конюшне, возится с сапогом. Показывает каблук, как хорошо набил.

– Я в сапогах пойду, как уж нога обыкла, – говорит он весело и все любуется сапогом, как починил-то знатно. – Другие там лапти обувают, а то чуни для мягкости… а это для ноги один вред, кто непривычен. Кто в чем ходит – в том и иди. Ну, который человек лапти носит, ну… ему не годится в сапогах, ногу себе набьет. А который в сапогах – иди в сапогах. И Панкратыч в сапогах идет, и я в сапогах пой-

ду, и ты ступай в сапожках, в расхожих самых. А новенькие уж там обуешь, там щегольнешь. Какое тебе папашенька уважение-то сделал… Кривую отпускает с нами! Как-никак, а уж доберешься. Это Горкин все за тебя старался… – уж пустите с нами, уж доглядим, больно с нами идти охота. Вот и пустил. Больно парень-то ты артельный… А с машины чего увидишь!

– Это не хитро, по машине! – повторяю я с гордостью, и в ногах у меня звенит. – И Угоднику потрудиться, правда?

– Как можно! Он как трудился-то… тоже, говорят, плотничал, церквы строил. Понятно, ему приятно. Вот и пойдем.

Он укладывает в мешок «всю сбрую»: две рубахи – расхожую и парадную, новенькие портянки, то-се.

Я его спрашиваю:

– А ты собираешься помирать? У тебя есть смертная рубаха?

– Это почему же мне помирать-то, чего вздумал! – говорит он, смеясь. – Мне и всего-то на седьмой десяток восьмой год пошел. Это ты к чему же?

– А… у Горкина смертная рубаха есть, и ее прихватывает в дорогу. Мало ли… в животе Бог… Как это?..

– А-а… вот ты к чему, ловкий какой… – смеется Антипушка на меня. – Да, в животе и смерти один Господь Бог волён, говорится. И у меня найдется похорониться в чем. У меня тоже рубаха неплохая, у Троицы надену, для причащения-приобщения, приведет Господь. А когда помереть кому

– это один Господь может знать. Ты вон намедни мне отчитал избасню-крылову… как дуб-то вон сломило в грозу, а соломинке ничего!..

– Не соломинка. «Трость» называется!

– Это все равно. Тростинка, соломинка… Так и с каждым человеком может быть. Ну, еще чего отчитай, избасню какую.

Я говорю ему быстро-быстро «Стрекоза и Муравей» – и прыгаю.

Он вдруг и говорит:

– Очень-то не пляши, напляшешь еще чего… ну-ка отдумают?..

Это нарочно он – попугать. Очень-то радоваться нельзя, я знаю: плакать бы не пришлось! Но будто и он боится: как бы не передумали. Утром он сказал Горкину: «Выбраться бы уж скорей, задержки бы какой не вышло». А ноги так и зудят, не терпится. Не было бы дождя?.. Антипушка говорит, что дождю не должно бы быть – мухи гуляют весело, в конюшню не набиваются, и сегодня утром большая была роса в саду. И куры не обираются, и Бушуй не ложится на спину и не трется к дождю от блох. И все говорят, что погода теперь установилась, самая-то пора идти.

Господи, и Кривая с нами! Я забираюсь в денник, к Кривой, пролезаю под ее брюхом, а она только фыркает – привыкла. Спрашиваю ее в зрячий глаз, рада ли, что пойдет с нами к Преподобному. Она подымает ухо, шлепает мокрыми

губами, на которых уже седые волосы, и тихо фырчит-фырчит – рада, значит. Пахнет жеваным теплым овсецом, молочным, – так сладко пахнет! Она обнюхивает меня, прихватывает губами за волосы – играет так. В черно-зеркальном ее глазу я вижу маленького себя, решетчатое оконце стойла и голубка за мною. Я пою ей недавно выученный стишок: «Ну, тащи ся, сивка, пашней-десятиной… красавица зорька в небе загорелась…» Пою и похлопываю под губы – ну, тащися, сивка!.. А сам уже далеко отсюда. Идем по лужкам-полям, по тропочкам, по лесочкам… много крещеного народу. «Красавица-зорька в небе загорелась, из большого леса солнышко выходит…»

«Ну, тащися, Сивка!..»

– Ну и затейник ты… – говорит Антипушка, – за-тейник!.. С тобой нам не скушно идти будет.

– Горкин говорит… – молитвы всякие петь будем! – говорю я. – Так заведёно уж, молитвы петь… конпанией, правда? А Преподобный будет рад, что и Кривая с нами, а? Ему будет приятно, а?..

– Ничего. Он тоже, поди, с лошадками хозяйствовал. Он и медведю радовался, медведь к нему хаживал… Он ему хлебца корочку выносил. Придет, встанет к сторонке под елку… и дожидается – покорми-и-и! Покормит. Вот и ко мне крыса ходит, не боится. Я и Ваську обучил, не трогает. В овес его

положу, а ей свистну. Она выйдет с-под полу, а он только ухи торчком, жесткий станет весь, подрагивает, а ничего. А крыса тоже, на лапки встает, нюхается. И пойдет овес собирать. Лаской и зверя возьмешь, доверится.

Зовет Горкин:

– Скорей, папашенька под сараем, повозку выбираем!

Мелькает белый пиджак отца. Под навесом, где сложены сани и стоят всякие телеги, отец выбирает с Горкиным, что нам дать. Он советует легкий тарантасик, но Горкин настаивает, что в тележке куда спокойней, можно и полежать, и беседочку заплести от солнышка, натыкать березок-елок, – и указывает легонькую совсем тележку – «как перышко!».

– Вот чего нам подходит. Сенца настелим, дерюжкой какой накроем – прямо тебе хоромы. И Кривой полегче, горошком за ней покатится.

Эту тележку я знаю хорошо. Она меньше других и вся в узорах. И грядки у ней, и подуги, и передок, и задок – все разделано тонкою резьбою: солнышками, колесиками, елочками, звездочками и разной затейной штучкой. Она ездила еще с дедушкой куда-то за Воронеж, где казаки, – красный товар возила. Отец говорит – стара. Да что-то ему и жалко. Горкин держится за тележку, говорит, что ей ничего не сделается: выстоялась и вся в исправности, только вот замочит колеса. На ней и годов не видно, и лучше новой.

– А не рассыплется? – спрашивает отец и встряхивает, берет под задок тележку. – Звонко поедете.

– Верно, что зазвониста, суховата. А легкая-то зато кака, горошком так и покатится.

И Антипушка тоже хвалит: береза, обстоялась, ее хошь с горы кидай. И Кривой будет в удовольствие, а тарантас заморит.

– Ну, не знаю… – с сомнением говорит отец, – давно не ездила. А «лисица» как, не шатается?

Говорят, что и «лисица» крепкая, не шелохнется в гнездах, как впаяна. Очень чудно – «лисица». Я хочу посмотреть «лисицу», и мне показывают круглую, как оглобля, жердь, крепящую передок с задком. Но почему – лисица? Говорят – кривая, лесовая, хитрущая самая веща в телеге, часто обманывает, ломается.

Отец согласен, но велит кликнуть Бровкина, осмотреть.

Приходит колесник Бровкин, с нашего же двора. Он всегда хмурый, будто со сна, с мохнатыми бровями. Отец зовет его – «недовольный человек».

– Ну-ка, недовольный человек, огляди-ка тележку, хочу к Троице с ними отпустить.

Колесник не говорит, обхаживает тележку, гукает. Мне кажется, что он недоволен ею. Он долго ходит, а мы стоим. Начинает шатать за грядки, за колеса, подымает задок, как перышко, и бросает сердито, с маху. И опять чем-то недоволен. Потом вдруг бьет кулаком в лубок, до пыли. Молча срывает с передка, сердито хрипит: «Пускай!» – и опрокидывает на кузов. Бьет обухом в задок, садится на корточки и слуша-

ет: как удар? Сплевывает и морщится. Слышу, как будто – ммдамм!.. – и задок уже без колес. Колесник оглаживает оси, стучит в обрезы, смотрит на них в кулак и вдруг – ударяет по «лисице». У меня сердце ёкает – вот сломает! Прыгает на «лисицу» и мнет ее. Но «лисица» не подает и скрипу. И все-таки я боюсь, как бы не расхулил тележку. И все боятся, стоят – молчат. Опять ставит на передок, оглаживает грядки и гукает. Потом вынимает трубочку, наминает в нее махорки, даже и не глядит, а все на тележку смотрит. Раскуривает долго, и кажется мне, что он и через спичку смотрит. Крепко затягивается, пускает зеленый дым, делает руки самоваром и грустно качает головой.

Отец спрашивает, прищурясь:

– Ну, как, недовольный человек, а? Плоха, что ли?

Спрашивает и Горкин, и голос его сомнительный.

– А, как по-твоему? Ничего тележонка… а?

Колесник шлепает вдруг по грядке, словно он рассердился на тележку, и взмахивает на нас рукою с трубкой:

– И где ее делали такую?! Хошь в Киев – за Киев поезжайте – сносу ей довеку не будет, – вот вам и весь мой сказ! Слажена-то ведь ка-ак, а!.. Что значит на совесть-то делана… а? Были мастера… Да разве это тележка, а?.. – смотрит он на меня чего-то, – не тележка это, а… детская игрушка! И весь разговор.

Так все и просияли. Наказал – шкворень разве переменить? Да нет, не стоит, живет и так. Даже залез в оглобли и

выкатил на себе тележку. Ну прямо перышко!

– На такой ездить жалко, – говорит он, не хмурясь. – Ты гляди, мудровал-то как! За одной резьбой, может, недели три проваландался… А чистота-то, а ровнота-то какая, а! Знаю, тверской работы… пряники там пекут рисованы. А дуга где?

Находят дугу, за санками. Все глядят на дугу: до того вся рисована! Колесник вертит ее и так, и эдак, оглаживает и колупает ногтем, проводит по ней костяшками, и кажется мне, что дуга звенит – рубчиками звенит.

– Кружева! Только молодым кататься, пощеголять. Картина писаная!..

К нам напрашиваются в компанию – веселей идти будет, но Горкин всем говорит, что идти не заказано никому, а веселиться тут нечего, не на ярмарку собрались. Чтобы не обидеть, говорит:

– Вам с нами не рука, пойдем тихо, с пареньком, и четыре дня, может, протянемся, лучше уж вам не связываться.

Пойдет с нами Федя, с нашего двора, бараночник. Он из себя красавец, богатырь-парень, кудрявый и румяный. А главное – богомольный и согласный, складно поет на клиросе, и характер у него – лен. С ним и в дороге поспокойней. Дорога дальняя, все лесами. Идти не страшно, народу много идет, а бывает – припоздаешь, задержишься… а за Рахмановом овраги пойдут, мосточки, перегоны глухие, – с возов сколько раз срезали. А под Троицей Убитиков овраг есть,

там недавно купца зарезали. Преподобный по-охранит, понятно… да береженого и Бог бережет.

Еще с нами идет Домна Панферовна, из бань. Очень она большая, «сырая» – так называет Горкин, – с ней и проканителишься, да женщина богомольная и обстоятельная. С ней и поговорить приятно, везде ходила. Глаза у ней строгие, губа отвисла, и на шее мешок от жира. Но она очень добрая. Когда меня водили в женские бани, она стригла мне ноготки и угощала моченым яблочком. Я знаю, что такого имени нет – Домна Панферовна, а надо говорить – Домна Парфеновна, но я не мог никак выговорить, и всем до того понравилось, что так и стали все называть – Панферовна. А отец даже напевал – Пан-фе-ровна! Очень уж была толстая, совсем – Пан-фе-ровна. Она и пойдет с нами, и за мною попригляди, все-таки женский глаз. Она и костоправка, может и живот поправить, за ноги как-то встряхивает. А у Горкина в ноге какая-то жила отымается, заходит – она и выправит.

С ней пойдет ее внучка – учится в белошвейках, старше меня, тихая девочка Анюта, совсем как куколка, – все только глазками хлопает и молчит, и щечки у ней румяно-белые. Домна Панферовна называет ее за эти щечки – «брусничника ты моя беленькая-свеженькая».

Напрашивался еще Воронин-булочник, но у него «слабость», запивает, а человек хороший, три булочных у него, обидеть человека жалко, а взять – намаешься. Подсылали к нему Василь Василича – к Николе-на-Угреши молиться

звать, там работа у нас была, но Воронин и слушать не хотел. Хорошо, брат приехал и задержал, и поехали они на Воробьевку, к Крынкину, на Москву смотреть. Мы уж от Троицы вернулись, а они все смотрели – Господь отнес.

К нам приходят давать на свечи и на масло Угоднику и просят вынуть просвирки, кому с Троицей на головке, кому – с Угодником. Все надо записать, сколько с кого получено и на что. У Горкина голова заходится, и я ему помогаю. Святые деньги с записками складываем в мешочек. Есть такие, что и по десяти просвирок заказывают, разных – и за гривенник, и за четвертак даже. Нам одним – прикинул на счетах Горкин – больше ста просвирок придется вынуть – и родным, и знакомым, а то могут обидеться: скажут – у Троицы были, а «милости» и не принесли.

Антипушка уже мыл Кривую и смазал копытца дочерна – словно калошки новые. Приходил осмотреть кузнец, в порядке ли все подковы и как копыта. Тележка уже готова, колеса и оси смазаны, – и будто дорогой пахнет. Горкин велит привернуть к грядкам пробойники, поаккуратней как, – ветки воткнем на случай, беседочку навесим – от солнышка либо от дождичка укрыться. Положен мешок с овсом, мягко набито сеном, половичком накрыто – прямо тебе постеля! Сшили и мне мешочек, на полотенчике, как у всех. А посошок вырежем в дороге, ореховый: Сокольниками пойдем, орешнику там… – каждый себе и выберет.

Все осматривают тележку, совсем готовую, – поезжай.

Господь даст, завтра пораньше выйдем, до солнышка бы Москвой пройти, по холодочку. Дал бы только Господь хорошую погоду завтра!

Мне велят спать ложиться, а солнышко еще и не садилось. А вдруг без меня уйдут? Говорят – спи, не разговаривай, уж пойдешь. Потому и Кривая едет. Я думаю, что верно. Говорят: Горкин давно уж спит, и Домна Панферовна храпит, послушай.

Я иду проходной комнаткой к себе. Домна Панферовна спит, накрывшись, совсем гора. Сегодня у нас ночует: как бы не запоздать да не задержать. Анюта сидит тихо на сундуке, говорит мне, что спать не может, все думает, как пойдем. Совсем как и я – не может. Мне хочется попугать ее, рассказать про разбойников под мостиком. Я говорю ей шепотом. Она страшно глядит круглыми глазами и жмется к стенке. Я говорю – ничего, с нами Федя идет большой, всех разбойников перебьет.

Анюта крестится на меня и шепчет:

– Воля Божия. Если что кому на роду написано – так и будет. Если надо зарезать – и зарежут, и Федя не поможет. Спроси-ка бабушку, она все знает. У нас в деревне старика одного зарезали, отняли два рубля. Против судьбы не пойдешь. Спроси-ка бабушку… она все знает.

От ее шепота и мне делается страшно, а Домна Панферовна так храпит, будто ее уже зарезали. И начинает уже темнеть.

– Ты не бойся, – шепчет Анюта, озираясь, зачем-то сжимает щечки ладошками и хлопает все глазами, боится будто, – молись великомученице Варваре. Бабушка говорит – тогда ничего не будет. Вот так: «Святая великомученица Варвара, избави меня от напрасныя смерти, от часа ночного обстоянного»… от чего-то еще?.. Ты спроси бабушку, она все…

– А Горкин, – говорю я, – больше твоей бабушки знает! Надо говорить по-другому… Надо – «всякаго обуревания и навета, и обстояния… избавь и спаси на пути-дороге, и на постое, и на… ходу!» Горкин все знает!

– А моя бабушка костоправка, и животы правит, и во всяких монастырях была… Горкин – умный старик, это верно… и бабушка говорит… У бабушки ладанка из Иерусалима с косточкой… от мощей… всегда на себе носит!

Я хочу поспорить, но вспоминаю, что теперь грех, – душу надо очистить, раз идем к Преподобному. Я иду в свою комнатку, вижу шарик от солитера, хрустальненький, с разноцветными ниточками внутри… и мне вдруг приходит в голову удивить Анюту. Я бегу к ней на цыпочках. Она все сидит, поджавши ноги, на сундуке. Я спрашиваю ее, почему не спит. Она берет меня за руку и шепчет: «Бою-усь… разбойников бою-усь…» Я показываю ей хрустальный шарик и говорю, что это волшебный и даже святой шарик… будешь держать в кармане – и ничего не будет! Она смотрит на меня, правду ли говорю, и глаза у ней будто просят. Я отдаю

ей шарик и шепчу, что такого шарика ни у одного человека нет, только у меня и есть. Она прячет его в кармашек.

Я не могу заснуть. На дворе ходят и говорят. Слышен голос отца и Горкина. Отец говорит: «Сам завтра провожу, мне надо по делам рано!» Лежу и думаю, думаю, думаю… – о дороге, о лесах и оврагах, о мосточках… где-то далеко-далеко – Угодник, который теперь нас ждет. Все думаю, думаю – и вижу… – и во мне начинает петь, будто не я пою, а что-то во мне поет, в голове, такое светлое, розовое, как солнце, когда его нет на небе, но оно вот-вот выйдет. Я вижу леса-леса и большой свет над ними, и все поет, в моей голове поет…

Красавица-зорька…
В небе за-го-ре…лась…
Из большого ле…са…
Солнышко-о… выходит…

Будто отец поет?..

Кричат петухи. Окна белеют в занавесках. Кричат на дворе. Горкин распоряжается:

– Пора закладать… Федя здесь?.. Час нам легкой, по холодку и тронемся, Господи, благослови…

Отец кричит – знаю я – из окна сеней:

– Пора и богомольца будить! Самовар готов?..

До того я счастлив, что слезы набегают в глазах. Заря – и сейчас пойдем! И отдается во мне чудесное, такое радостное и светлое, с чем я заснул вчера, певшее и во сне со мною,

светающее теперь за окнами:

Красавица-зо-рька
В небе за-го-ре…лась…
Из большого ле…са
Солнышко-о выходит…

Москвой

Из окна веет холодком зари. Утро такое тихое, что слышно, как бегают голубки по крыше и встряхивается со сна Бушуй. Я минутку лежу, тянусь; слушаю – петушки поют, голос Горкина со двора, будто он где-то в комнате:

– Тяжи-то бы подтянуть, Антипушка… Да охапочку бы сенца еще!

– Маленько подтянуть можно. Погодку-то дал Господь…

– Хорошо, жарко будет. Кака роса-то, крыльцо все мокрое. Бараночек, Федя, прихватил?.. Это вот хорошо с чайком.

– Покушайте, Михал Панкратыч, только из печи выкинули.

Слышно, как ломают они бараночки и хрустят. И будто пахнет баранками. Все у крыльца, за домом. И Кривая с тележкой там, подковками чокает о камни. Я подбегаю к окошку крикнуть, что я сейчас. Веет радостным холодком, зарей. Вот какая она, заря-то!

За Барминихиным садом небо огнистое, как в пожар.

Солнца еще не видно, но оно уже светит где-то. Крыши сараев в бледно-огнистых пятнах, как бывает зимой от печки. Розовый шест скворечника начинает краснеть и золотиться, и над ним уже загорелся прутик. А вот и сараи золотятся. На гребешке амбара сверкают крыльями голубки, вспыхива-

ет стекло под ними: это глядится солнце. Воздух… пахнет как будто радостью.

Бежит с охапкой сенца Антипушка, захлопывает ногой конюшню. На нем черные, с дегтя, сапоги – а всегда были рыжие, желтый большой картуз и обвислый пиджак из парусины Василь Василина, «для жары»; из кармана болтается веревка.

– Дегтянку-то бы не забыть!.. – заботливо окликает Горкин, – поилка, торбочка… ничего словно не забыли. Чайку по чашечке – да и с Богом. За Крестовской, у Брехунова, как следует напьемся, не торопясь, в садочке.

И я готов. Картузик на мне соломенный, с лаковым козырьком; суровая рубашка, с петушками на рукавах и вороте; расхожие сапожки, чтобы ноге полегче, новые там надену. Там… Вспомнишь – и дух захватит. И радостно, и… не знаю что. Там – все другое, не как в миру… Горкин рассказывал: церкви всегда открыты, воздух – как облака, кадильный… и все поют: «И-зве-ди из темницы ду-шу моюууу!..» Прямо душа отходит.

Пьем чай в передней, отец и я. Четыре только прокуковало. Двери в столовую прикрыты, чтобы не разбудить. Отец тоже куда-то едет: на нем верховые сапоги и куртка. Он пьет из граненого стакана пунцовый чай, что-то считает в книжечке, целует меня рассеянно и строго машет, когда я хочу сказать, что наш самовар стал розовый. И передняя розовая

стала, совсем другая!

– Поспеешь, ногами не сучи. Мажь вот икорку на калачик.

И все считает: «Семь тыщ дерев… да с новой рощи… ну, двадцать тыщ дерев…» Качается над его лбом хохол, будто считает тоже. Я глотаю горячий чай, а часы-то стучат-стучат. Почему розовый пар над самоваром, и скатерть, и обои?.. Темная горбатая икона «Страстей Христовых» стала как будто новой, видно на ней распятие. Вот отчего такое… За окном – можно достать рукой – розовая кирпичная стена, и на ней полоса от солнца: оттого-то и свет в передней. Никогда прежде не было.

Я говорю отцу:

– Солнышко заглянуло к нам!

Он смотрит рассеянно в окошко, и вот – светлеет его лицо.

– А-а… да, да. Заглянуло в проулок к нам.

Смотрит – и думает о чем-то.

– Да… дней семь-восемь в году всего и заглянет сюда к нам в щель. Дедушка твой, бывало, все дожидался, как долгие дни придут… чай всегда пил тут с солнышком, как сейчас мы с тобой. И мне показывал. Маленький я был, забыл уж. А теперь я тебе. Так вот все и идет… – говорит он задумчиво. – Вот и помолись за дедушку.

Он оглядывает переднюю. Она уже тускнеет, только икона светится. Он смотрит над головой и напевает без слов любимое – «Кресту Твоему… поклоня-емся, Вла-ды-ыко-о»… Солнышко уползает со стены.

В этом скользящем свете, в напеве грустном, в ушедшем куда-то дедушке, который видел то же, что теперь вижу я, чуется смутной мыслью, что все уходит… уйдет и отец, как этот случайный свет. Я изгибаю голову, слежу за скользящим светом… вижу из щели небо, голубую его полоску между стеной и домом… и меня заливает радостью.

– Ну, заправился? – говорит отец. – Помни, слушаться Горкина. Мешочек у него с мелочью, будет тебе выдавать на нищих. А мы, Бог даст, догоним тебя у Троицы.

Он крестит меня, сажает к себе на шею и сбегает по лестнице.

На дворе весело от солнца, свежевато. Кривая блестит, словно ее наваксили; блестит и дуга, и сбруя, и тележка, новенькая совсем, игрушечка. Горкин – в парусиновой поддевке, в майском картузике набочок, с мешком, румяный, бодрый, бородка – как серебро. Антипушка – у Кривой, с вожжами. Федя – по-городскому, в лаковых сапогах, словно идет к обедне; на боку у него мешок с подвязанным жестяным чайником. На крыльце сидит Домна Панферовна, в платочке, с отвислой шеей, такая красная, – видно, ей очень жарко. На ней серая тальма балахоном, с висюльками, и мягкие туфли-шлепанцы; на коленях у ней тяжелый ковровый саквояж и белый пузатый зонт. Анюта смотрит из-под платочка куколкой. Я спрашиваю, взяла ли хрустальный шарик. Она смотрит на бабушку и молчит, а сама щупает в кармашке.

– Матерьял сдан, доставить полностью! – говорит отец, сажая меня на сено.

– Будьте покойны, не рассыпим, – отвечает Горкин, снимает картуз и крестится. – Ну, нам час добрый, а вам счастливо оставаться, по нам не скучать. Простите меня, грешного, в чем согрубил… Василь Василичу поклончик от меня скажите.

Он кланяется отцу, Марьюшке-кухарке, собравшимся на работу плотникам, скорнякам, ночевавшим в телеге на дворе, вылезающим из-под лоскутного одеяла, скребущим головы, и тихому в этот час двору. Говорят на разные голоса: «Час вам добрый», «Поклонитесь за нас Угоднику». Мне жаль чего-то. Отец щурится, говорит: «Я еще с вами штуку угоню!» – «Прокурат[4] известный», – смеется Горкин, прощается с отцом за руку. Они целуются. Я прыгаю с тележки.

– Пускай его, покрасуется маленько, а там посадим, – говорит Горкин. – Значит, так: ходу не припущай, по мне трафься. Пойдем полегоньку, как богомолы ходят, и не уморимся. А ты, Домна Панферовна, уж держи фасон-то.

– Сам-то не оконфузься, батюшка, а я котышком покачусь. Саквояжик вот положу, пожалуй.

Из сеней выбегает Трифоныч, босой, – чуть не проспал проститься, – и сует посылочку для Сани, внучка, послушником у Троицы. А сами с бабушкой по осени побывают, мол… торговлишку, мол, нельзя оставить, пора рабочая самая.

---

[4] Прокурат – шутник, затейник, проказник.

– Ну, Господи, благослови… пошли!

Тележка гремит-звенит, попрыгивает в ней сено. Все высыпают за ворота. У Ратникова, напротив, стоит на тротуаре под окнами широкая телега, и в нее по лотку спускают горячие ковриги хлеба; по всей улице хлебный дух. Горкин велит Феде прихватить в окошко фунтика три-четыре «сладкого», за Крестовской[5] с чайком заправимся. Идем не спеша, по холодочку. Улица светлая, пустая; метут мостовую дворники, золотится над ними пыль. Едут решета на дрожинах: везут с Воробьевки на Болото[6] первую ягоду – сладкую русскую клубнику: дух по всей улице. Горкин окликает: «Почем клубника?» Отвечают: «По деньгам! Приходи на Болото, скажем!» Горкин не обижается: «Известно уж, воробьевцы… народ зубастый».

На рынке нас нагоняет Федя, кладет на сено угол теплого «сладкого», в бумажке. У бассейны Кривая желает пить. На крылечке будки, такой же сизой, как и бассейна, на середине рынка босой старичок в розовой рубахе держит горящую лучину над самоварчиком. Неужели это Гаврилов, будошник! Но Гаврилов всегда с медалями, в синих штанах, с саблей, с черными, жесткими усами, строгий. А тут – старичок, как Горкин, в простой рубахе, с седенькими усами, и

[5] Крестовская застава (ныне Рижская площадь) являлась в то время частью городской черты.

[6] Воробьевы горы – место огородов и садов старой Москвы. Болото – в XV–XIX вв. название низменной местности в Замоскворечье, напротив Кремлевского холма, за Москвой-рекой, место Болотного рынка (ныне площадь Репина).

штаны на нем ситцевые, трясутся, ноги худые, в жилках, и ставит он самоварчик, как все простые. И зовут его не Гаврилов, а Максимыч.

Пока поит Антипушка, мы говорим с Максимычем. Он нас хвалит, что идем к Троице-Сергию, – «дело хорошее», говорит, сует пылающую лучину в самоварчик и велит погодить маленько – гривенничек на свечки вынесет. Горкин машет: «Че-го, сочтемся!» – но Максимыч отмахивается: «Не-э, это уж статья особая» – и выносит два пятака. За один – Преподобному поставить, а другую… «выходит, что на канун… за упокой души воина Максима». Горкин спрашивает: «Так и не дознались?» Максимыч смотрит на самоварчик, чешет у глаза и говорит невесело:

– Обер проезжал намедни, подозвал пальцем… помнит меня. Говорит: «Не надейся, Гаврилов, к сожалению… все министры все бумаги перетряхнули – и следу нет!» Пропал под Плевной. В августу месяце два года будет. А ждали со старухой. Охотником пошел. А место какое выходило, городской части… самые Ряды, Ильинка…

Горкин жалеет, говорит:

– Живот положил… молиться надо.

– Не воротишь… – говорит в дым Максимыч над самоварчиком.

А я-то его боялся раньше.

Слышу, кричит отец, скачет на нас Кавказкой:

– Богомольцы, стой! Ах, Горка… как мне, брат, глаз твой

нужен! Рощи торгую у Васильчиковых, в Коралове… делянок двадцать. Как бы не обмишулиться!

– Вот те раз… – говорит Горкин растерянно, – давеча-то бы сказали!.. Как же теперь… дороги-то наши розные?..

– Ползите уж, обойдусь. Не хнычешь? – спрашивает меня и скачет к Крымку, налево.

– На вот, не сказал давеча! – всплескивает руками Горкин. – Под Звенигород поскакал. Ну, горяч!.. Пожалуй, и к Савве Преподобному доспеет.

Я спрашиваю, почему теперь у Гаврилова усы седые и он другой.

– Рано, не припарадился. А то опять бравый будет. Иначе ему нельзя.

Якиманка совсем пустая, светлая от домов и солнца. Тут самые раскупцы, с Ильинки. Дворники, раскорячив ноги, лежат на воротных лавочках, бляхи на них горят. Окна вверху открыты, за ними тихо.

– Домна Панферовна, жива?..

– Жива… сам-то не захромай… – отзывается Домна Панферовна с одышкой.

Катится вперевалочку, ничего. Рядом, воробушком, Анюта с узелочком, откуда глядит калачик. Я – на сене, попрыгиваю, пою себе. Попадаются разносчики с Болота, несут зеленый лук молодой, красную, первую, смородинку, зеленый крыжовник аглицкий – на варенье. Едут порожние ломовые, жуют ситный, идут белые штукатуры и маляры с ки-

стями, подходят к трактирам пышечники.

Часовня Николая Чудотворца у Каменного моста уже открылась, заходим приложиться, кладем копеечки. Горкин дает мне из моего мешочка. Там копейки и грошики. Так уж всегда на богомолье – милостыньку дают, кто просит. На мосту Кривая упирается, желает на Кремль глядеть: приучила так прабабушка Устинья. Москва-река – в розовом туманце, на ней рыболовы в лодочках, подымают и опускают удочки, будто водят усами раки. Налево – золотистый, легкий, утренний храм Спасителя, в ослепительно золотой главе: прямо в нее бьет солнце. Направо – высокий Кремль, розовый, белый с золотцем, молодо озаренный утром. Тележка катится звонко с моста, бежит на вожжах Антипушка. Домна Панферовна под зонтом словно летит по воздуху, обогнала и Федю. Кривая мчится, как на бегах, под горку, хвостом играет. Медленно тянем в горку. И вот – Боровицкие ворота.

Горкин ведет Кремлем.

Дубовые ворота в башне всегда открыты – и день, и ночь. Гулко гремит под сводами тележка, и вот он, священный Кремль, светлый и тихий-тихий, весь в воздухе. Никто-то не сторожит его. Смотрят орлы на башнях. Тихий дворец, весь розовый, с отблесками от стекол, с солнца. Справа – обрыв, в решетке, крестики древней церковки, куполки, зубчики стен кремлевских, Москва и даль.

Горкин велит остановиться.

Крестимся на Москву внизу. Там, за рекой, Замоскворе-

чье, откуда мы. Утреннее оно, в туманце. Свечи над ним мерцают – белые колоколенки с крестами. Слышится редкий благовест.

А вот – соборы.

Грузно стоят они древними белыми стенами, с узенькими оконцами, в куполах. Пухлые купола клубятся. За ними – синь. Будто не купола: стоят золотые облака – клубятся. Тлеют кресты на них темным и дымным золотом. У соборов не двери – дверки. Люди под ними – мошки. В кучках сидят они, там и там, по плитам Соборной площади. Что ты, моя тележка… и что я сам! Остро звенят стрижи, носятся в куполах, мелькая.

– Богомольцы-то, – указывает Горкин, – тут и спят, под соборами, со всей России. Чаек попивают, переобуваются… хорошо. Успенский, Благовещенский, Архангельский… Ах и хорошие же соборы наши… душевные!..

Постукивает тележка, как в пустоте, – отстукивает в стенах горошком.

– Во, Иван-то Великой… какой!..

Такой великий… больно закинуть голову. Он молчит.

Мимо старинных пушек, мимо пестрой заградочки с солдатом, который обнял ружье и смотрит, катится звонкая тележка, книзу, под башенку.

– А это Никольские ворота, – указывает Горкин. – Крестись, Никола – дорожным помочь. Ворочь, Антипушка, к Царице Небесной… нипочем мимо не проходят.

Иверская открыта, мерцают свечи. На скользкой железной паперти, ясной от стольких ног, – тихие богомольцы, в кучках, с котомками, с громкими жестяными чайниками и мешками, с палочками и клюшками, с ломтями хлеба. Молятся, и жуют, и дремлют. На синем, со звездами золотыми, куполке – железный, с мечом, Архангел держит высокий крест.

В часовне еще просторно и холодок, пахнет горячим воском. Мы ставим свечки, падаем на колени перед Владычицей, целуем ризу. Темный знакомый лик скорбно над нами смотрит – всю душу видит. Горкин так и сказал: «Молись, а она уж всю душу видит». Он подводит меня к подсвечнику, широко разевает рот и что-то глотает с ложечки. Я вижу серебряный горшочек, в нем на цепочке ложечка. Не сладкая ли кутья, какую дают в Хотькове? – Горкин рассказывал. Он поднимает меня под мышки, велит ширыне разинуть рот. Я хочу выплюнуть – и страшусь.

– Глотай, глотай, дурачок… святое маслице… – шепчет он.

Я глотаю. И все принимают маслице. Домна Панферовна принимает три ложечки, будто пьет чай с вареньем, обсасывает ложечку, облизывает губы и чмокает. И Анюта как бабушка.

– Еще бы принял, а? – говорит мне Домна Панферовна и берется за ложечку, – животик лучше не заболит, а? Моленое, чистое, афонское, а?..

Больше я не хочу. И Горкин остерегает:

– Много-то на дорогу не годится, Домна Панферовна… кабы чего не вышло.

Мы проходим Никольскую, в холодке. Лавки еще не отпирались – сизые ставни да решетки. Из глухих, темноватых переулков тянет на нас прохладой, пахнет изюмом и мятным пряником: там лабазы со всякой всячиной.

В голубой башенке – Великомученик Пантелеймон. Заходим и принимаем маслице. Тянемся долго-долго – и все Москва. Анюта просится на возок, кривит ножки, но Домна Панферовна никак: «Взялась – и иди пешком!»

Входим под Сухареву башню, где колдун Брюс сидит[7], замуравлен на веки вечные.

Идем Мещанской – все-то сады, сады. Движутся богомольцы, тянутся и навстречу нам. Есть московские, как и мы; а больше дальние, с деревень: бурые армяки-сермяга, онучи, лапти, юбки из крашенины, в клетку, платки, паневы, – шорох и шлепы ног. Тумбочки деревянные, травка у мостовой; лавчонки с сушеной воблой, с чайниками, с лаптями, с квасом и зеленым луком, с копчеными селедками на двери, с жирною «астраханкой» в кадках. Федя полощется в рассо-

---

[7] Брюс Яков Вилимович (1670–1735) – русский государственный деятель. Был одним из образованнейших людей России, естествоиспытателем и астрономом и владел крупнейшей библиотекой, насчитывавшей около 1500 томов, научно-технического и справочного содержания. В 1702 г. открыл первую в России обсерваторию при Навигацкой школе, которая помещалась в Сухаревой башне. Занимался астрологий, предсказывал судьбу по звездам. Возможно, именно поэтому народная молва приписывала Брюсу славу чернокнижника и чародея.

ле, тянет важную, за пятак, и нюхает – не духовного звания? Горкин крякает: хороша! Говеет, ему нельзя. Вон и желтые домики заставы, за ними – даль.

– Гляди, какие… рязанские! – показывает на богомолок Горкин. – А ушками-то позадь – смоленские. А то тамбовки, ноги кувалдами… Сдалече, мать?

– Дальние, отец… рязанские мы, стяпные… – поет старушка. – Московский сам-то? Внучек табе-то паренек? Картузик какой хороший… Почем такой?

С ней идет красивая молодка, совсем как девочка, в узорочной сорочке, в красной повязке рожками, смотрит в землю. Бусы на ней янтарные, она их тянет.

– Твоя красавица-то? – спрашивает Горкин про девочку, но та не смотрит.

– Внучка мне… больная у нас она… – жалостно говорит старушка и оправляет бусинки на красавице. – Молчит и молчит, с год уж… первенького как заспала, мальчик был. Вот и идем к Угоднику. Повозочка-то у табе нарядная, больно хороша, увозлива… Почем такая?

Тележка состукивает на боковину, катится хорошо, пылит. Домики погрязней, пониже, дальше от мостовой. Стучат черные кузнецы, пахнет угарным углем.

– Прощай, Москва! – крестится на заставе Горкин. – Вот мы и за Крестовской, самое богомолье начинается. Ворочь, Антипушка, под рябины, к Брехунову… закусим, чайку попьем. И садик у него приятный. Наш, ростовский… приго-

ворки у него всякие в трактире, росписано хорошо…

Съезжаем под рябины. Я читаю на синей вывеске «Трактир "Отрада" с мытищинской водой Брехунова и Сад».

– Ему с ключей возят. Такая вода… упьешься! И человек раз душевный.

– А селедку-то я есть не стану, Михал Панкратыч, – говорит Федя, – поговеть тоже хочу. Куда ее?..

– Хорошее дело, поговей. Пятак зря загубил… да ты богатый. Проходящему кому подай… куда!

– А верно!.. – говорит Федя радостно и сует старику с котомкой, плетущемуся в Москву.

Старичок крестится на Федю, на селедку и на всех нас.

– Во-от… спаси тя Христос, сынок… а-а-а… спаси тя… – тянет он едва слышно, такой он слабый, – а-а-а… селедка… спаси Христос… сынок…

– Как Господь-то устраивает! – кричит Горкин. – Будет теперь селедку твою помнить, до самой до смерти.

Федя краснеет даже, а старик все щупает селедку. Его обступают богомолки.

– С часок, пожалуй, пропьем. Кривую-то лучше отпрячь, Антипушка… во двор введем. Маленько постойте тут, скажу хозяину.

Богомольцы все движутся. Пахнет дорогой, пылью. Видны леса. Солнце уже печет, небо голубовато-дымно. Там, далеко за ним – радостное, чего не знаю, – Преподобный. Церкви всегда открыты, и все поют. Господи, как чудесно!..

– Вводи, Антипушка! – кричит Горкин, уж со двора.

За ним – хозяин, в белой рубахе, с малиновым пояском под пузом, толстый, веселый, рыжий.

Хвалит нашу тележку, меня, Кривую, снимает меня с тележки, несет через жижицу в канавке и жарко хрипит мне в ухо:

– Вот уважили Брехунова, заглянули! А я вам стишок спою, все мои гости знают…

Брехунов зовет в «Отраду»
Всех – хошь стар, хошь молодой.
Получайте все в награду
Чай с мытищинской водой!

Богомольный садик

Мы – на святой дороге, и теперь мы другие, богомольцы. И все кажется мне особенным. Небо – как на святых картинках, чудесного голубого цвета, такое радостное. Мягкая, пыльная дорога, с травкой по сторонам, не простая дорога, а святая: называется – Троицкая. И люди ласковые такие, все поминают Господа: «Довел бы Господь к Угоднику», «Пошли вам Господи!» – будто мы все родные. И даже трактир называется – «Отрада».

Распрягаем Кривую и ставим в тень. Огромный кудрявый Брехунов велит дворнику подбросить ей свежего сенца – только что подкосили на усадьбе, – ведет нас куда-то по навозу и говорит так благочестиво:

– В богомольный садик пожалуйте… Москву повыполоскать перед святой дорожкой, как говорится.

Пахнет совсем по-деревенски – сеном, навозом, дегтем. Хрюкают в сараюшке свиньи, гогочут гуси, словно встречают нас. Брехунов отшвыривает ногой гусака, чтобы не заклевал меня, и ласково объясняет мне, что это гуси, самая глупая птица, а это вот петушок, а там бочки от сахара, а сахарок с чайком пьют, и удивляется: «Ишь ты какой, даже и гусей знает!» Показывает высокий сарай с полатями и смеется, что у него тут «лоскутная гостиница», для странного народа.

– Поутру выгоняю, а к ночи битком… за тройчатку, с ки-

пятком! Из вашего леску! Так папашеньке и скажите: был, мол, у Прокопа Брехунова, чай пил и гусей видал. А за лесок, мол, Брехунов к Покрову никак не может… а к Пасхе, может, Господь поможет.

Все смеются. Анюта испуганно шепчет мне: «Бабушка говорит, все трактирщики сущие разбойники… зарежут, кто ночует!» Но Брехунов на разбойника не похож. Он берет меня за голову, спрашивает: «А Москву видал?» – и вскидывает выше головы. Я знаю эту шутку, мне нравится, пальцы только у него жесткие. Он повертывает меня и говорит: «Мне бы такого паренька-то!» У него все девчонки, пять штук девчонок, на пучки можно продавать. Домна Панферовна не велит отчаиваться, может что-то поговорить супруге. Брехунов говорит – навряд, у старца Варнавы были, и он не обнадежил: «Зачем, говорит, тебе наследничка?» – Говорю – Господь дает, расширяюсь… а кому всю машину передам? А он, как в шутку: «Этого добра и без твоего много!» – трактирных, значит, дедов.

– Не по душе ему, значит, – говорит Горкин, – а то бы помолился.

– А чайку-то попить народу надо? Говорю: «Благословите, батюшка, трактирчик на Разгуляе открываю». А он опять все сомнительно: «Разгуляться хочешь?» Открыл. А подручный меня на три тыщи и разгулял! В пустяке вот – и то провидел.

Горкин говорит, что для святого нет пустяков, они до всего снисходят.

Пьем чай в богомольном садике. Садик без травки, вытоптано, наставлены беседки из бузины, как кущи, и богомольцы пьют в них чаек. Все народ городской, небедный. И все спрашивают друг друга ласково: «Не к Преподобному ли изволите?» – и сами радостно говорят, что и они тоже к Преподобному, если Господь сподобит. Будто тут все родные. Ходят разносчики со святым товаром – с крестиками, с образками, со святыми картинками и книжечками про «жития». Крестиков и образков Горкин покупать не велит: там купим, окропленных со святых мощей, лучше на монастырь пойдет. В монастыре у Троице-Сергия три дня кормят задаром всех бедных богомольцев, сколько ни приходи. Федя покупает за семитку книжечку в розовой бумажке – «Житие Преподобного Сергия», будем расчитывать дорогой, чтобы все знать. Ходит монашка в подкованных башмаках, кланяется всем в пояс – просит на бедную обитель. Все кладут ей по силе-возможности на черную книжку с крестиком.

– И как все благочестиво да хорошо, смотреть приятно! – говорит Горкин радостно. – А по дороге и еще лучше будет. А уж в Лавре… и говорить нечего. Из Москвы – как из ада вырвались.

Бегают белые половые с чайниками, похожими на большие яйца: один с кипятком, другой, поменьше, с заварочкой. Называется – парочка. Брехунов велит заварить для нас особенного, который розаном пахнет. Говорит нам:

– Кому – вот те на, а для вас – господина Боткина! Кому пареного, а для вас – баринова!

И приговаривает стишок:

Русский любит чай вприкуску
Да покруче кипяток!

– А ежели по-богомольному, то вот как: «Поет монашек, а в нем сто чашек?» – отгадай, ну-ка? Самоварчик! А ну, опять… «Носик черен, бел-пузат, хвост калачиком назад?» Не знаешь? А вон он, чайничек-то! Я всякие загадки умею. А то еще богомольное, монахи любят… «Господа помолим, чайком грешки промоем!» А то и «кишки промоем»… и так говорят.

– Это нам не подходит, Прокоп Антоныч, – говорит Горкин, – в Москве наслушались этого добра-то.

– Москва уж всему обучит. Гляди ты, прикусывает-то как чисто, а! – дивится на меня Брехунов, – и кипятку не боится!

Предлагает нам расстегайчика, кашки на сковородке со снеточком, а то московской соляночки со свежими подберезничками. Горкин отказывается. У Троицы, Бог даст, отговемшись, в «блинных», в овражке, всего отведаем – и грибочков, и карасиков, и кашничков заварных, и блинков, тосе… а теперь, во святой дороге, нельзя ублажать мамон. И то бараночками да мягконьким грешим вот, а дальше уж на сухариках поедем, разве что на ночевке щец постных похле-

баем.

Брехунов хвалит, какие мы правильные, хорошо веру держим:

– Глядеть на вас утешительно, как благолепие соблюдаете. А мы тут, как черви какие, в пучине крутимся, праздники позабыли. На масленой вон странник проходил… может, слыхали… Симеонушка-странник?

– Как не слыхать, – говорит Горкин, – сосед наш был, на Ордынке кучером служил у краснорядца Пузакова, а потом, годов пять уж, в странчество пошел, по благодати. Так что он-то?..

– На все серчал. Жена его на улице встретила, завела в трактир, погреться, ростепель была, а на нем валенки худые и промокши. Увидал стойку… Масленица, понятно, выпимши народ, у стойки непорядок, понятно, шкаликами выстукивают во как… и разговор не духовный, понятно… Он первым делом палкой по шкаликам, начисто смел. Мы его успокоили, под образа посадили, чайку, блинков, то-се… Плакать принялся над блинками. Один блин и сжевал-то всего. Потом кэ-эк по чайнику кулаком!.. «А, – кричит, – чаи да сахары, а сами катимся с горы!..» Погрозил посохом и пошел. Дошел до каменного столба к заставе да трое суток и высидел, бутошник уж его принял, а то стечение народу стало, проезду нет. «Мне, – говорит, – у столба теплей, чем на вашей печке!» Грешим, понятно, много. Такими-то еще и держимся.

Он уходит, говорит: «Делов этих у меня… уж извините».

К нам подходят бедные богомольцы, в бурых сермягах и лапотках, крестятся на нас и просят чайку на заварочку щепотку, мокренького хоть. Горкин дает щепотки и сахарку, но набирается целая куча их, и все просят. Мы отмахиваемся – где же на всех хватит. Прибегает Брехунов и начинает кричать: как они пробрались? Гнать их в шею! Половые гонят богомолок салфетками. Пролезли где-то через дыру в заборе и на огороде клубнику потоптали. Я вижу, как одному старику дал половой в загорбок. Горкин вздыхает: «Господи, греха-то что!» Брехунов кричит: «Их разбалуй, настоящему богомольцу и ходу не дадут!» Одна старушка легла на землю, и ее поволокли волоком, за сумку. Горкин разахался:

– Мы кусками швыряемся, а вон… А при конце света их-то Господь первых и призовет. Их там не поволокут… там кого другого поволокут.

И Антипушка говорит, что поволокут. Домна Панферовна стыдит полового, что мать ведь свою, дурак, волочит. А он свое: нам хозяин приказывает. И все в беседках начали говорить, что нельзя так со старым человеком, крепче забор тогда поставьте! Брехунов оправдывается, что они скрозь землю пролезут… что вам-то хорошо, попили да пошли, а его прямо одолели!..

– «Лоскутную» им поставил, весь спитой чай раздаю, кипятком хоть залейся, и за все три монетки только! Они за день боле полтинника на-хнычут, а есть такие, что от стойки

не отгонишь, пятаками швыряются. Не все, понятно, и праведные бывают…

– Если бы я был царь, – говорит Федя, – я бы по всем богомольным дорогам трактиры велел построить и всем бы бесплатно все бы… бедные которые, и чай, и щец с ломтем хлеба… А то зимой сколько таких позамерзает!

Горкин хвалит его – не в папашу пошел: тот три дома на баранках нажил, а Федя в обитель собирается, а ему богатеющую невесту сватают. Федя краснеет и не смотрит, а Домна Панферовна говорит, что вон Алексей-то Божий человек царский сын был, а в конуру ушел от свадьбы… от царства отказался.

Антипушка крестится в бузину и говорит радостно так:

– До чего ж хорошо-то, Господи!.. Какие святые-то бывают, а уж нам хоть знать-то про них и то радость великая.

Соседи по беседке рассказывают, что есть один такой в Таганке, сын богатого мучника… взял на Крещенье у дворника полушубок, шапку да валенки – и пропал! А вот на самый день матери Елены, царя Костинкина[8], 21 числа майместяца, письмо пришло с Афонской Горы: «Тут я нахожусь, на веки веков, аминь». Три тыщи мучник на монастырь будто выслал.

Все хвалят, и так всем радостно, что есть и теперь подвижники. И Брехунов говорит, что если уж по-настоящему ска-

[8] Константин (ок. 285–337) – римский император. Канонизирован христианской Церковью.

зать, то лучше богомольной жизни ничего нет. Он давно при этом деле находится и видит, сколько всякого богомольного народа, – душа прямо не нарадуется!

Мы пьем чай очень долго. Федя давно напился и читает нам «Житие», нараспев, как в церкви. Домна Панферовна сидит, развалившись рот, еле передыхает, – по самое сердце допилась. Анюта все пристает к ней, просит: «Бабушка, пожалуйста, не помри – смотри… у тебя сердце выскочит, как намедни!» А с ней было плохо на Масленице, когда она тоже допилась у нас и много блинков поела. Она все потирает сердце, говорит: чай это крепкий такой. Горкин говорит: пропотеешь – облегчит, а чай на редкость. Они с Антипушкой все стучат крышечкой по чайнику, еще кипяточка требуют. Пиджак и поддевочку они сняли, у Антипушки течет с лысины, рубаха на плечах взмокла, и Горкин все утирается полотенцем – а пьют и пьют. Я все спрашиваю: да когда же пойдем-то? А Горкин только и говорит: дай напьемся. Они сидят друг против дружки, молча, держат на пальцах блюдечки, отдувают парок и схлебывают живой-то кипяток. Антипушка поглядит в бузину и повздыхает: «Их, хорошо-о!..» И Горкин – поглядит тоже в бузину и скажет: «На что лучше!» Брехунов зовет Домну Панферовну поговорить с супругой. А они все не опрокидывают чашек и не кладут сахарок на донышки. Горкин наконец говорит: «Шабаш!., ай еще постучать, последний?» Антипушка хвалит воду, до чего ж мягкая! Горкин опять стучит и велит Феде сводить меня по-

казать трактир, как хорошо расписано.

Мы идем из садика черным ходом, а навстречу нам летит с лестницы половой-мальчишка с разбитым чайником и трет чего-то затылок. На ухе у него кровь. Брехунов стоит наверху с салфеткой и кричит страшным голосом: «Голову оторву!..» – и еще нехорошие слова. Он видит нас и кричит: «С ими нельзя без боя… все чайники перебили, подлецы!» И щелкает салфеткой.

– Видал фокус? – спрашивает он меня. – Как щелкну да перейму – кончиком мясо вырву! И меня так учили. По уху щелкнут – с кровью волосья вырвут! Не на чем показать-то…

Я боюсь. Федя говорит – Михаила Панкратыч велит показать трактир, как там расписано. Брехунов берет меня за руку и ведет в большую комнату, в синий дым. Тут очень шумно, за столиками разные пьют чай. Брехунов подносит меня к прилавку, за которым все чайники на полках, словно фарфоровые яйца, и говорит: «Вот какие мальчишки-то бывают!» Я вижу очень полную, с круглым, белым лицом, как огромный чайник, светловолосую женщину. Она сидит за прилавком и пьет чай с постными пирогами. Тут и Домна Панферовна, пьет чай с вареньем, и сидит много девочек на ящиках, побольше и поменьше, все белобрысые, с голубыми гребенками на головках, и у всех в кулаке по пирогу. Брехунов ставит меня на прилавок у пирогов и повторяет: «Вот какие бывают!» Мне стыдно, все на меня глядят, а на мне

пыльные сапожки, а тут пироги и девочки. Женщина смотрит ласково и будто грустно, гладит мою руку и перебирает пальцы, спрашивает, сколько мне лет, знаю ли «Отче наш», сажает к себе на колени и дает ложечку варенья. Все девочки глядят на меня, как на какое чудо. Брехунов барабанит пальцами и тоже смотрит. Женщина спрашивает его, можно ли мне дать пирожка. Он говорит – обязательно можно! – и велит еще дать изюмцу и мятных пряников. Она насыпает мне полные карманы и все хочет поцеловать меня, но я не даюсь, мне стыдно.

Брехунов носит меня над головами, над столами, в пареном, дымном воздухе, показывает мне канареечек и как хорошо расписано. Я вижу лебедей на воде, а на бережку господа пьют чай и стоят, как белые столбики, половые с салфетками. Потом нарисована дорога, и по ней, в елочках, идут богомольцы в лапотках, а на пеньках сидят добрые медведи и хорошо так смотрят. Я спрашиваю – это святые медведи, от Преподобного? Он говорит – обязательно святые, от Троицы, а грешника обязательно загрызут. Только Преподобного не трогали. И показывает мне самое главное – «мытищинскую воду». Это большая зеленая гора, в елках, и наверху тоже сидят медведи, а в горе ввернуты медные краны, какие бывают в банях, и из них хлещет синими дугами «мытищинская вода» в большие самовары, даже с пеной. Потом он показывает огромный медный куб с кипятком, откуда нацеживают в чайники. И говорит:

– И еще одну механику покажу, стойку нашу.

Он отводит меня к грязному прилавку, где соленые огурцы и горячая белужина на доске, а на подносе много зеленых шкаликов. Перед стойкой толпятся взъерошенные люди, грязные и босые, сердито плюются на пол и скребут ногой об ногу, Брехунов шепчет мне:

– А это пьяницы… их Бог наказал.

Пьяницы стучат пятаками и кричат нехорошие слова. Мне страшно, но тут я слышу ласковый голос Горкина:

– Пора и в дорогу, запрягаем.

Он видит, на что мы смотрим, и говорит строгим голосом:

– Так не годится, Прокоп Антоныч… чего хорошего ему тут глядеть!

Он сердито тянет меня и почти кричит: «Пойдем, нечего тут глядеть, как люди себя теряют… пойдем!»

Горкин расстроен чем-то. Он сердито увязывает мешок, кричит на Федю и на Домну Панферовну: «Пустить без себя нельзя… помощники… рублишко бы за брехню сорвать, на то вас станет!..» Домна Панферовна хватает саквояж, кричит Анюте: «Ну, чего рот раззявила, пойдем!», кричит Горкину: «Развозился, без тебя и дороги не найдем, как же!..» – и бежит с зонтиком в балахоне. За ней испуганная Анюта с узелочком. Горкин кричит вдогонку: «Ишь шпареная какая… возу легче!» Федя не шелохнется, Брехунов стоит-поглядывает. У Горкина лицо красное, дрожат руки. Он выбрасывает

на столик три пятака, подвигает их к Брехунову, а тот отодвигает и все говорит: «Это почему ж такое?.. Из уважения я, как вы мои гости… Да ты счумел?!»

Горкин кричит, уже не в себе:

– Мы не гости… «гости»! Одно безобразие! Нагрешили с короб… На богомолье идем, а нам пьяниц показывают! Не надо нам угощения!.. И я-то, дурак, запился…

Брехунов говорит сквозь зубы: «Как угодно-с» и стучит пятаками по столу. Лицо у него сердитое. Мы идем к забору, а он вдогонку:

– И вздорный же ты, старик, стал! И за что?! И шут с тобой, коли так!

Что-то звякает, и я вижу, как летят пятаки в забор. Горкин вдруг останавливается, смотрит, словно проснулся. И говорит тревожно:

– Как же это так… негоже так. Говею, а так… осерчал. Так отойтить нельзя… как же так?..

Он оглядывается растерянно, дергает себя за бородку, жует губами.

– Прокоп Антоныч, – говорит он, – уж не обижайся, прости уж меня, по-хорошему. Виноват, сам не знаю, что вдруг?.. Говеть буду у Троицы… уж не попомни на мне, сгоряча я чтой-то, чаю много попил, с чаю… чай твой такой сердитый!..

Он собирает пятаки и быстро сует в карман. Брехунов говорит, что чай у него самолучший, для уважаемых, а человек

человека обидеть всегда может.

– Бывает, закипело сердце. Чай-то хороший мой, а мы-то вот…

Они еще говорят, уже мирно, и прощаются за руку. Горкин все повторяет: «А и вправду, вздорный я стал, погорячился…» Брехунов сам отворяет нам ворота, говорит, нахмурясь: «Пошел бы и я с вами подышать святым воздухом, да вот… к навозу прирос, жить-то надо!» – и плюет в жижицу в канавке.

– Просвирку-то за нас вынешь? – кричит он вслед.

– Господи, да как же не вынуть-то! – кричит Горкин и снимает картуз. – И выну, и помолюсь… прости ты нас, Господи! – И крестится.

Долго идем слободкой, с садами и огородами. Попадаются прудики; трубы дымят по фабрикам. Скоро вольнее будет: пойдут поля, тропочки по лужкам, лесочки. Долго идем, молчим. Кривая шажком плетется. Горкин говорит:

– А ведь это все искушение нам было… все *он* ведь это! Господи, помилуй…

Он снимает картуз и крестится на белую церковь, вправо. И все мы крестимся. Я знаю, кто это – *он*.

Впереди, у дороги, сидит на травке Домна Панферовна с Анютой. Анюта тычется в узелок – плачет? Горкин еще издали кричит им: «Ну, чего уж… пойдемте, с Господом! Подоброму, по-хорошему…» Они поднимаются и молча идут

за нами. Всем нам как-то не по себе. Антипушка почмокивает Кривой, вздыхает. Вздыхает и Горкин, и Домна Панферовна. А кругом весело, ярко, зелено. Бредут богомольцы – и по большой дороге, и по тропкам. Горкин говорит – по времени-то, девятого половина, нам бы за Ростокиным быть, к Мытищам подбираться, а мы святое на чай сменяли, – он виноват во всем.

Хорошо поют где-то, церковное. Это внизу, у речки, в березках. Подходим ближе. Горкин говорит – хоть об заклад побиться, Васильевские это певчие, с Полянки. Федя признает даже Ломшакова, октавный рык, а Горкин – и батыринские баса, и Костикова – тенора. Славно поют в березках. Только тревожить не годится, а то смутишь. Стоим и слушаем, как из овражка доносится:

…я-ко кади-ло пре-эд То-о-бо-о-о-ю-у-у.
Во-зде-я-а-а…ние… руку мое-э-э-ю-ууу!.

Плывет – будто из-под земли на небо. Долго слушаем, и другие с нами. Говорят – небесное пение. Кончили. Горкин говорит тихо:

– Это они на богомолье, всякое лето тройкой ходят. Вишь, узелки-то на посошках… пиджаки-то посияли, жарко. Ну, там повидаемся. И до чего ж хорошо, душа отходит! Поправился наш Ломшачок в больнице, вот и на богомолье.

Анюта шепчет – закуски там у них на бумажках и бутыл-

ка. Горкин смеется: «Глаза-то у те вострые! Может, и закусят-выпьют малость, а как поют-то! Им за это Господь простит».

Идем. Горкин велит Феде – стишок подушевней какой начал бы. Федя несмело начинает: «Стопы моя…» Горкин поддерживает слабым, дрожащим голоском: «…направи… по словеси Твоему…» Поем все громче, поют и другие богомольцы. Домна Панферовна, Анюта, я и Антипушка подпеваем все радостней, все душевней:

И да не обладает мно-о-ю…
Вся-кое… безза-ко-ни-и-е…

Поем и поем, под шаг. И становится на душе легко, покойно. Кажется мне, что и Кривая слушает, и ей хорошо, как нам, – помахивает хвостом от мошек. Мягко потукивает на колеях тележка. Печет солнце, мне дремлется…

– Полезай в тележку-то, подреми… рано поднялся-то! – говорит мне Горкин. – И ты, Онюта, садись. До Мытищ-то и выспитесь.

Укачивает тележка – туп-туп… туп-туп… Я лежу на спине, на сене, гляжу в небо. Такое оно чистое, голубое, глубокое. Ярко, слепит лучезарным светом. Смотрю, смотрю… – лечу в голубую глубину. Кто-то тихо-тихо поет, баюкает. Анюта это?..

…у-гу-гу… гу-гу… гу-гу…

На зе-ле-ном… на лу-гу…

Или – стучит тележка… или – во сне мне снится?..

На святой дороге

С треском встряхивают меня, страшные голоса кричат: «Тпру!., тпру!..» – и я, как впросонках, слышу:

– Понеслась-то как!.. Это она Яузу признала, пить желает.

– Да нешто Яуза это?

– Самая Яуза, только чистая тут она.

Какая Яуза? Я ничего не понимаю.

– Вставай, милой… ишь разоспался как! – узнаю я ласковый голос Горкина. – Щеки-те нажгло… Хуже так-то жарой сморит, в головку напекет. Вставай, к Мытищам уж подходим, донес Господь.

Во рту у меня все ссохлось, словно песок насыпан, и такая истома в теле – косточки все поют. Мытищи?.. И вспоминаю радостное: вода из горы бежит! Узнаю голосок Анюты:

– Какой же это, бабушка, богомольщик… в тележке все!

И теперь начинаю понимать: мы идем к Преподобному, и сейчас лето, солнышко, всякие цветы, травки… а я в тележке. Вижу кучу травы у глаза, слышу вялый и теплый запах, как на Троицын день в церкви, – и ласкающий холодок освежает мое лицо: сыплются на меня травинки, и через них все – зеленое. Так хорошо, что я притворяюсь спящим и вижу, жмурясь, как Горкин посыпает меня травой и смеется его бородка.

– Мы его, постой, кропивкой… Онюта, да-кося мне кро-

пивку-то!..

Вижу обвисшие от жары орешины, воткнутые надо мной от солнца, и за ними – слепящий блеск. Солнце прямо над головой, палит. У самого моего лица – крупные белые ромашки в траве, синие колокольчики и – радость такая! – листики земляники с зародышками ягод. Я века-киваю в тележке, хватаю траву и начинаю тереть лицо.

И теперь вижу все.

Весело, зелено, чудесно! И луга, и поля, и лес. Он еще далеко отсюда, угрюмый, темный. Называют его – боры. В этих борах – Угодник, и там – медведи. Близко сереется деревня, словно дрожит на воздухе. Так бывает в жары, от пара. Сияет-дрожит над ней белая, как из снега, колокольня, с блистающим золотым крестом. Это и есть Мытищи. Воздух – густой, горячий, совсем медовый, с согревшихся на лугах цветов. Слышно жужжанье пчелок.

Мы стоим на лужку, у речки. Вся она в колком блеске из серебра, и чудится мне: на струйках играют-сверкают крестики. Я кричу:

– Крестики, крестики на воде!..

И все говорят на речку:

– А и вправду… с солнышка крестики играют словно!

Речка кажется мне святой. И кругом все – святое.

Богомольцы лежат у воды, крестятся, пьют из речки пригоршнями, мочат сухие корочки. Бедный народ все больше: в сермягах, в кафтанишках, есть даже в полушубках с за-

платками – захватила жара в дороге, в лаптях и в чунях, есть и совсем босые. Перематывают онучи, чистятся, спят в лопухах у моста, настегивают крапивой ноги, чтобы пошли ходчей. На мосту сидят с деревянными чашками убогие и причитают:

– Благодетели… милостивцы, подайте святую мил остинку… убогому-безногому… родителев-сродников… для-ради Угодника, во телоздравие, во душеспасение…

Анюта говорит, что видела страшенного убогого, который утюгами загребал-полз на коже, без ног вовсе, когда я спал. И поющих слепцов видали. Мне горько, что я не видел, но Горкин утешает – всего увидим у Троицы, со всей Росеи туда сползаются. Говорят – вон там какой болезный!

На низенькой тележке, на дощатых катках-колесках лежит под дерюжиной паренек, ни рукой, ни ногой не может. Везут его старуха с девчонкой из-под Орла. Горкин кладет на дерюжину пятак и просит старуху показать – душу пожалобить. Старуха велит девчонке поднять дерюжку. Подымаются с гулом мухи и опять садятся сосать у глаз. От больного ужасный запах. Девчонка веткой сгоняет мух. Мне делается страшно, но Горкин велит смотреть.

– От горя не отворачивайся… грех это!

В ногах у меня звенит, так бы и убежал, а глядеть хочется. Лицо у парня костлявое, как у мертвеца, все черное, мутные глаза гноятся. Он все щурится и моргает, силится прогнать мух, но мухи не слетают. Стонет тихо и шепчет засох-

шими губами: «Дунька… помочи-и…» Девчонка вытирает ему рот мокрой тряпкой, на которой присохли мухи. Руки у него тонкие, лежат, как плети. В одной вложен деревянный крестик, из лучинок. Я смотрю на крестик, и хочется мне заплакать почему-то. На холщовой рубахе парня лежат копейки. Федя кладет ему гривенничек на грудь и крестится. Парень глядит на Федю жалобно так, как будто думает, какой Федя здоровый и красивый, а он вот и рукой не может. Федя глядит тоже жалобно, жалеет парня. Старуха рассказывает так жалостно, все трясет головой и тычет в глаза черным, костлявым кулачком, по которому сбегают слезы:

– Уж такая беда лихая с нами… Сено, кормилец, вез да заспал на возу-то… на колдобоине упал с воза, с того и попритчилось, кормилец… третий год вот все сохнет и сохнет. А хороший-то был какой, бе-э-лый да румяный… табе не хуже!

Мы смотрим на Федю и на парня. Два месяца везут, сам запросился к Угоднику, во сне видал. Можно бы по чугунке, телушку бы продали, Господь с ней, да потрудиться надо.

– И все-то во снах видит… – жалостно говорит старуха, – все говорит-говорит: «Все-то я на ногах бегаю да сено на воз кидаю!»

Горкин в утешение говорит, что по вере и дается, а у Господа нет конца милосердию. Спрашивает, как имя: просвирку вынет за здравие.

– Михайлой звать-то, – радостно говорит старушка. – Ми-

шенькой зовем.

– Выходит – тезка мне. Ну, Миша, молись – встанешь! – говорит Горкин как-то особенно, кричит словно, будто ему известно, что парень встанет.

Около нас толпятся богомольцы, шепотом говорят:

– Этот вот старичок сказал, уж ему известно… обязательно, говорит, встанет на ноги… уж ему известно!

Горкин отмахивается от них и строго говорит, что Богу только известно, а нам, грешным, веровать только надо и молиться. Но за ним ходят неотступно и слушают-ждут, не скажет ли им еще чего, – «такой-то ласковый старичок, все знает!».

Федя тащит ведерко с речки – поит Кривую. Она долго сосет – не оторвется, а в нее овода впиваются, прямо в глаз, – только помаргивает – сосет. Видно, как у ней раздуваются бока и на них вздрагивают жилы. Я кричу – вижу на шее кровь:

– Кровь из нее идет, жила лопнула!..

Алой струйкой, густой, растекается на шее у Кривой кровь. Антипушка стирает лопушком и сердится:

– А, стерва какая, прокусил, гад!.. Вон и еще… гляди, как искровянили-то лошадку оводишки… А она пьет и пьет, не чует!..

Говорят – это ничего, в такую жарынь пользительно, лошадка-то больно сытая – «им и сладко». А Кривая все пьет и пьет, другое ведерко просит. Антипушка говорит, что так

не пила давно, – пользительная вода тут, стало быть.

И все мы пьем, тоже из ведерка. Вода ключевая, сладкая: Яуза тут родится, от родников, с-под горок. И Горкин хвалит: прямо чисто с гвоздей вода, ржавчиной отзывается с пузыриками даже, – верно, через железо бьет. А в Москве Яуза черная да вонючая, не подойдешь, потому и зовется – Яуза-Гряуза! И начинает громко рассказывать, будто из священного читает, а все богомольцы слушают. И подводчики с моста слушают – кипы везут на фабрику и приостановились.

– Так и человек. Родится дите чистое, хорошее, андельская душка. А потом и обгрязнится, черная станет да вонючая, до смрада. У Бога все хорошее, все-то новенькое да чистенькое, как те досточка строгана… а сами себя поганим! Всякая душа, ну… как цветик полевой-духовитый. Ну, она, понятно, и чует – поганая она стала, – и тошно ей. Вот и потянет ее в баньку духовную, во глагольную, как в Писаниях писано: «В баню водную, во глагольную»! Потому и идем к Преподобному – пообмыться, обчиститься, совлечься от грязи-вони…

Все вздыхают и говорят:

– Верно говоришь, отец… Ох, верно!

А Горкин еще из священного говорит, и мне кажется, что его считают за батюшку: в белом казакинчике он, будто в подряснике, – и так мне приятно это. Просят и просят:

– Еще поговори чего, батюшка… слушать-то тебя хорошо, разумно!..

На берегу, в сторонке, сидят двое в ситцевых рубахах, пьют из бутылки и закусывают зеленым луком. Это, я знаю, плохие люди. Когда мы глядели парня, они кричали:

– Он вот водочки вечерком хватит на пятаки-то ваши… сразу исцелится, разделает комаря… таких тут много!

Горкин плюнул на них и крикнул, что нехорошо так охальничать, тут горе человеческое. А они все смеялись. И вот когда он говорил из священного, про душу, они опять стали насмехаться:

– Ври-ври, седая крыса! Чисть ее, душу, кирпичом с водочкой, чище твоей лысины заблестит!

Так все и ахнули. А подводчики кричат с моста:

– Кнутьями их, чертей! Такие вот намедни у нас две кипы товару срезали!..

А те смеются. Горкин их укоряет, что нельзя над душой охальничать. И Федя даже за Горкина заступился – а он всегда очень скромный. Горкин его зовет – «красная девица ты прямо!». И он даже укорять стал:

– Нехорошо так! Не наводите на грех!..

А они ему:

– Молчи, монах! в триковых штанах!..

Ну, что с таких взять: охальники!

Один божественный старичок с длинными волосами мочит ноги в речке и рассказывает, какие язвы у него на ногах были, черви до кости проточили, а он летось помыл тут ноги с молитвой, и все-то затянуло – одни рубцы. Мы смотрим на

его коричневые ноги: верно, одни рубцы.

– А наперед я из купели у Троицы мочил, а тут доправилось. Будете у Преподобного, от Златого Креста с молитвою испейте. И ты, мать, болящего сына из-под Креста помой, с верой! – говорит он старушке, которая тоже слушает. – Преподобный кладезь тот копал, где Успенский собор, – и выбило струю, под небо! Опосля ее крестом накрыли. Так она сквозь тот крест проелась, прыщет во все концы, – чудо-расчудо.

Все мы радостно крестимся, а те охальники и кричат:

– Надувают дураков! Водопровод-напор это, нам все, средалям, видно… дураки степные!

Старичок им прямо:

– Сам ты водопровод-напор!

И все мы им грозимся и посошками машем:

– Не охальничайте! Веру не шатайте, шатущие!..

И Горкин сказал: «Пусть хоть и распроводо-провод, а через крест идет… и водопровод от Бога!» А один из охальников допил бутылку, набулькал в нее из речки и на нас – плеск из горлышка, крест-накрест!

– Вот вам мое кропило! Исцеляйся от меня по пятаку с рыла!..

Так все и ахнули. Горкин кричит:

– Анафема вам, охальники!..

И все богомольцы подняли посошки. И тут Федя – пиджак долой, плюнул в кулаки да как ахнет обоих в речку – пятки

мелькнули только. А те вынырнули по грудь и давай нас всякими-то словами!.. Анюта спряталась в лопухи, и я перепугался, а подводчики на мосту кричат:

– Ку-най их, ку-най!

Федя, как был, в лаковых сапогах, – к ним в реку и давай их за волосы трепать и окунать. А мы все смотрели и крестились. Горкин молит его:

– Федя, не утопи… смирись!..

А он прямо с плачем кричит, что не может дозволить Бога поносить, и все их окунал и по голове стукал. Тогда те стали молить – отпустить душу на покаяние. И все богомольцы принялись от радости бить посошками по воде, а одна старушка упала в речку, за мешок уж ее поймали – вытащили. А Федя выскочил из воды, весь бледный, – и в лопухи. Я смотрю – стягивает с себя сапоги и брюки и выходит в розовых панталонах. И все его хвалили. А те, охальники, выбрались на лужок и стали грозить, что сейчас приятелей позовут, мытищинцев, и всех нас перебьют ножами. Тут подводчики кинулись за ними, догнали на лужку и давай стегать кнутьями. А когда кончили, подошли к Горкину и говорят:

– Мы их дюже попарили, будут помнить. Их бы воротяжкой[9] надоть, чем вот воза прикручиваем!.. Благословите нас, батюшка.

Горкин замахал руками, стал говорить, что он не сподоб-

[9] Воротяжка – тонкое бревно, которым навивают веревки для прикручивания клади на возах.

лен, а самый простой плотник и грешник. Но они не поверили ему и сказали:

– Это ты для простоты укрываешься, а мы знаем.

Тележка выезжает на дорогу. Федя несет сапоги за ушки, останавливается у больного парня, кладет ему в ноги сапоги и говорит:

– Пусть носит за меня, когда исцелится.

Все ахают, говорят, что это уж указание ему такое и парень беспременно исцелится, потому что сапоги эти не простые, а лаковые, не меньше как четвертной билет, – а не пожалел! Старуха плачет и крестится на Федю, причитает:

– Родимый ты мой, касатик-милостивец… Хорошую невесту Господь те пошлет…

А он начинает всех оделять баранками и всем кланяется и говорит смиренно:

– Простите меня, грешного… самый я грешный.

И многие тут плакали от радости, и я заплакал. Ищем Домну Панферовну, а она храпит в лопухах – так ничего и не видала. Горкин ей еще попенял:

– Здорова ты спать, Панферовна… так и Царство Небесное проспишь. А тут какие чудеса-то были!..

Очень она жалела, всех чудесов-то не видала.

Идем по тропкам к Мытищам. Я гляжу на Федины ноги, какие они белые, и думаю, как же он теперь без сапог-то будет. И Горкин говорит:

– Так, Федя, и пойдешь босо, в розовых? И что это с тобой деется? То щеголем разрядился, а то… Будто и не подходит так… в тройке – и босой! Люди засмеют. Ты бы уж неприглядней как…

– Я теперь, Михайла Панкратыч, уж все скажу… – говорит Федя, опустив глаза. – Лаковые сапоги я нарочно взял – добивать, а новую тройку – тридцать рублей стоила! – дотрепать. Не нужно мне красивое одеяние и всякие радости. А тут и вышло мне указание. Пришлось стаскивать сапоги, а как увидал болящего, меня в сердце толкнуло: отдай ему! И я отдал, развязался с сапогами. Могу простые купить, а то и тройку продам для нищих или отдам кому. Я с тем, Михайла Панкратыч, и пошел, чтобы не ворочаться. Давно надумал в монастыре остаться, как еще Саня Юрцов в послушники поступил…

И вдруг подпрыгнул – на сосновую шишечку попал, – от непривычки. Горкин разахался:

– В монасты-ырь?! Да как же так… да меня твой старик загрызет теперь… Ты, скажет, смутил его!

– Да нет, я ему письмо напишу, все скажу. По солдатчине льготный я, и у папаши Митя еще останется, да, может, еще и не примут, чего загадывать.

– Да Саня-то заика природный, а ты парень больно кудряв-красовит, – говорит Домна Панферовна, – на соблазн только, в монахи-то! Ну, возьмут тебя в певчие, и будут на тебя глаза пялить… нашу-то сестру взять.

– И горяч ты, Федя, подивился я нонче на тебя… – говорит Горкин. – Ох, подумай-подумай, дело это нелегкое, в монастырь!..

Федя идет задумчиво, на свои ноги смотрит. Пыльные они стали, и Федя уже не прежний будто, а словно его обидели, наказали, затрапезное на него надели.

– Благословлюсь у старца Варнавы, уж как он скажет. А то, может, в глухие места уйду, к валаамским старцам… – Он сворачивает в канавку у дороги и зовет нас с Анютой. – Глядите, милые… Земляничка-то Божия, первенькая!

Мы подбегаем к нему, и он дает нам по веточке земляничек, красных, розовых и еще неспелых – зеленовато-белых. Мы встряхиваем их тихо, любуемся, как они шуршат, будто позванивают, не можем налюбоваться, и жалко съесть. Как они необыкновенно пахнут! Федя шурхает по траве, босой, и все собирает, собирает и дает нам. У нас уже по букетику, всех цветов, ягодки так дрожат… Пахнет так сладко, свеже – радостным богомольем пахнет, сосенками, смолой… И до сего дня помню радостные те ягодки, на солнце, – душистые огоньки, живые.

Мы далеко отстали, догоняем. Федя бежит, подкидывает пятки, совсем как мы. Кричит весело Горкину:

– Михайла Панкратыч… гостинчику! Первая земляничка Божья!..

И начинает оделять всех, по веточке, словно раздает свечки в церкви. Антипушка берет веточку, радуется, нюхает

ягодки и ласково говорит Феде:

– Ах ты, душевный человек какой… простота ты. Такому в миру плохо, тебя всякий дурак обманет. Видать, так уж тебе назначено, в монахи спасаться, за нас Богу молиться. Чистое ты дите вот.

Горкин невесел что-то, и всем нам грустно, словно Федя ушел от нас.

А вот и Мытищи, тянет дымком, навозом. По дороге навоз валяется: возят в поля, на пар. По деревне дымки синеют. Анюта кричит:

– Матушки… самоварчики-то золотенькие по улице, как тумбочки!..

Далеко по деревне, по сторонам дороги, перед каждым как будто домом, стоят самоварчики на солнце, играют блеском, и над каждым дымок синеет. И далеко так видно – по обе стороны – синие столбики дымков.

– Ну, как тут чайку не попить!.. – говорит Горкин весело, – уж больно парадно принимают… самоварчики-то стоят, будто солдатики. Домна Панферовна, как скажешь? Попьем, что ли, а?. А уж серчать не будем.

– Ты у нас голова-то… а закусить самая пора… Будто пирогами пахнет?..

– Самая пора чайку попить – закусить… – говорит и Антипушка. – Ах, благодать Господня… денек-то Господь послал!..

И уж выходят навстречу бабы, умильными голосками зазывают:

– Чайку-то, родимые, попейте… Пристали, чай?..

– А у меня в садочке, в малинничке-то!..

– Родимые, ко мне, ко мне!.. Летошний год у меня пивали… и смородинка для вас поспела, и…

– Из луженого-то моего, сударики, попейте… у меня и медок нагдышний[10], и хлебца тепленького откушайте, только из печи вынула!..

И еще, и еще бабы, и старухи, и девочки, и степенные мужики. Один мужик говорит уверенно, будто уж мы и порядились:

– В сарае у меня поотдохнете, попимши-то… жара спадет. Квасу со льду, огурцов, капустки, всего по постному делу есть. Чай на лужку наладим, на усадьбе, для апекиту… от духу задохнешься! Заворачивайте без разговору.

– Дом хороший, и мужик приятный… и квасок есть, на что уж лучше… – говорит Горкин весело. – Да ты не Соломяткин ли будешь, будто кирпич нам важивал?

– Как же не Соломяткин! – вскрикивает мужик. – Спокон веку все Соломяткин. Я и Василь Василича знаю, и тебя узнал. Ну, заворачивайте без разговору.

– Как Господь-то наводит! – вскрикивает и Горкин. – Мужик хороший, и квас у него хозяйственный. Вон и садик, смородинки пощипите, – говорит нам с Анютой, – он дозво-

[10] Недавно накачанный *(нар.)*.

лит. Да как же тебя не помнить… царю родня! Во куда мы попали, как раз насупротив Карцовихи самой, дом вон двуярусный, цел все…

– А пощипите, зарозовела смородинка, – говорит мужик. – Верно, что сродни будто Лександре Миколаевичу… – смеется он, – братьё, выходит.

– Как – братьё?! – с удивлением говорит Антипушка; и я не верю, и все не верят.

– А вот так, братьё! Вводи лошадку без разговору.

Мужик распахивает ворота, откуда валит навозный дух. И мешается с ним медовый, с задов деревни, с лужков горячих, и духовито горький, церковный будто, – от самоварчиков, с пылких сосновых шишек.

– Ах, хорошо в деревне!.. – воздыхает Антипушка, потягивая в себя теплый навозный дух. – Жить бы да жить… Нет, поеду в деревню помирать.

Пока отпрягают Кривую и ставят под ветлы в тень, мы лежим на прохладной травке-муравке и смотрим в небо, на котором заснули редкие облачка. Молчим, устали. Начинает клонить ко сну…

– А ну-ка кваску, порадуем Москву!.. – вскрикивает мужик над нами, и слышно, как пахнет квасом.

В руке у мужика запотевший каменный кувшин, красный; в другой – деревянный ковш.

– Этим кваском матушка, покойница, царевича поила… хвалил-то как!

Пенится квас в ковше, сладко шипят пузырики, – и кажется все мне сказкой.

– Хорош квасок, а проклажаться нечего, – торопит Горкин, – закусим – да и с Богом. Пушкино пройдем, в Братовщине ночуем. Сколько до Братовщины считаете?

– Поспеете, – рыгает мужик в кувшин. – Шибает-то как сердито! Черносливину припущаю. На цветочки пойдемте, на усадьбу. Пни там у меня, не хуже креслов.

Идем по стежке, в жарком, медовом духе. Гудят пчелы. Горит за плетнем красными огоньками смородина. В солнечной полосе под елкой, где чернеют грибами ульи, поблескивают пчелы. Антипушка радуется – сенцо-то, один цветок! Ромашка, кашка, бубенчики… Горкин показывает: морковник, купырники, свербика, белого-ловничек. Мужик ерошит траву ногой – гуще каши! Идем в холодок, к сараю, где сереют большие пни.

– Французы на них сидели! – говорит мужик. – А сосна, может, и самого Преподобного видала.

Дымит самовар на травке. Антипушка с Горкиным делают мурцовку: мнут толкушкой в чашке зеленый лук, кладут кислой капусты, редьки, крошат хлеба, поливают конопляным маслом и заливают квасом. Острый запах мурцовки мешается с запахом цветов. Едим щербатыми ложками, а Федя грызет сухарик.

– Молодец-то чего же не хлебает? – спрашивает мужик.

Говорим – в монахи собирается, постится. Начинает хле-

бать и Федя.

– То-то, гляжу, чудной! Спинжак хороший, а в гульчиках и босой… а ноги белы. В монахи – а битюга повалит.

Горкин говорит: как кому на роду написано, такими-то и стоит земля. Мужик вздыхает: у Бога всего много. Федя просит, нет ли сапог поплоше, а то смеются. Идет за сарай и выходит в брюках, почесывает ноги: должно быть, крапивой обстрекался. Мужик говорит, что сапоги найдутся.

Пьем чай на траве, в цветах. Пчелки валятся в кипяток – столько их! От сарая длиннее тень. Домну Панферовну разморило, да и всем дремлется – не хочется и смородинки пощипать. Мужик говорит, что с квасу это.

– С квасу моего ноги снут. Старуха моя в Москву к дочке поехала, а то бы она вас «мартовским» попотчевала бы… в ледку у ней засечен. Давеча ты сказал – богато живу… – говорит мужик Горкину. – Бога не погневлю: есть чего пожевать, на чем полежать. Сыны в Питере, при дворцах, как гвардию отслужили, живут хорошо. Хлеба даром и я не ем. А богомольцев не из корысти принимаю, а нельзя обижать Угодника. Спокон веков, от родителей. Дорога наша святая, по ней и цари к Преподобному ходили. В давни времена мы солому заготовляли под царей, с того и Соломяткины. У нас и Сбитневы есть, и Пироговы. Мной, может, и покончится, а закон додержу. Кака корысть! Зимой – метель на дворе, на печь давно пора, а тут старушку Божию принесло, клюшкой стучит в окошко – «пустите, кормильцы, заночевать!». Иди.

Святое дело, от старины. Может, Господь заплатит.

Говорит он важно, бороду все поглаживает. Борода у него широкая. Лицом строгий, а глаза добрые. И такой чистый, в белой рубахе с крапинкой. Горкин спрашивает, как это он – «царев брат»?

– Дело это знаменитое. Сама Авдотья Гавриловна Карцова рассказывала, дом-то ее насупротив, в два яруса. Так началось. Как господа от француза из Москвы убегали на Ярославль, тут у нас гону было!.. Вот одна царская генеральша, вроде прынцесса, и поломайся. Карета ее, значит. Напротив дома Карцовых, оба колеса. Дуняше тогда семнадцатый год шел, а уже ребеночка кормила. Ну, помогла генеральше вылезть из кареты. Та ее сразу и полюбила, и пристала у них, пока карету починяли. Писаная красавица была Дуняша, из изборов избор! А у генеральшиной дочки со страхов молоко пропало, дитё кричит. Дуняша и стань его кормить, молошная была. Высокая была, и все расположение ее было могущественное, троих выкормит. Генеральша и упросила ее с собой, мужу капитал выдала. Прихватила своего и поехала с царской генеральшей. Воротилась через год, в лисьей шубе, и повадка у ней уж благородная набилась. С матушкой моей подружки были. Я в шишнад-цатом родился, а у матушки от горячки молоко сгорело… Дуняша и стала меня кормить со своим, в молоке была. Я ее так и звал – мама Дуня. А в восемнадцатом годе и случилось… Губернатор с казаками прискакал, и в бумаге приказ от царской генеральши – с молоком

ли Дуня Карцова? А она две недели только родила. Прямо ее в Москву на досмотр помчали. А там уж царская генеральша ждет. Обласкала ее, обдарила… А царь тогда Лександр Первый был, а у него брат Миколай Павлыч. Вот у Миколай-то Павлыча сын родился, а что уж там – не знаю, а только кормилку надо достоверную искать по всему царству-государству. Царская генеральша и похвались: достану такую… из изборов избор. Значит, на какой она высоте-то была, генеральша! Доктора ее обглядели во всех статьях – говорят: лучше нельзя и требовать. И помчала ее та генеральша с дитей ее в карете меховой-золотой, с зеркальками… с энтими вот, на запятках-то… помчали стрелой без передыху, как птицы, и кругом казаки с пиками… В два дни в Питер к самому дворцу примчали. А Дуняша дрожит, Богу молит, как бы чего не вышло. Дитю ее кормилку взяли… Ну, она тайком его кормила, ее генеральша под секретом по какой-то лестнице с винтом вываживала. Сперва в баню, промыли-прочесали, духами душили, одели в золото – в серебро, в каменья, кокошник огромадный… Как показали ее всей царской фамилии – шабаш, из изборов избор! Сам Миколай Павлыч ее по щеке поласкал, сказал: «Как Расея наша! Корми Сашу моего, чтобы здоровый был». А царевич криком кричит, своего требует: молочка хочу! Как его припустили ко груди-то… к нашей, сталоть, мытищинской-деревенской, шабаш! Не оторвешь, что хошь. Сперва-то она дрожала с перепугу, а там обошлась. Три генеральши в шестеро глаз глядели, как она

дитё кормила, а царская генеральша над ними главная. А целовать – ни-ни! «А я, – говорит, – наклонюсь, будто грудь выправить, и приложусь!» Сама мне сказывала. Как Херувинчик был, весь-то в кружевках. И корм ей шел отборный, и питье самое сладкое. И при ней служанки – на все. Вот и выкормила нам Лександру Миколаи-ча, он всех крестьян-то и освободил. Молочко-то… оно свое сказало! Задарили ее, понятно, наследники большую торговлю в Москве имеют. Царевич как к Троице поедет – к ней заезжал. Раз и захотись пить ему, жарко было. Она ему – миг! – «Я тебя, батюшка, кваском попотчую, у моей подружки больно хорош». А матушка моя квас творила… – всем квасам квас! И послала к матушке. Погнала меня матушка, побег я с кувшином через улицу, а один генерал, с бачками, у меня и выхвати кувшин-то! А царевич и увидь в окошко – и велел ему допустить меня с квасом. Она-то уж ему сказала, что я тоже ее выкормыш. А уж я парень был, повыше его. Дошел к нему с квасом, он меня по плечу: «Богатырь ты!» И смеется: «Братец мне выходишь?» Я заробел, молчу. Велел выдать мне рубль серебра, крестовик. А генералы весь у меня кувшин роспили и цигарками заугощали. Во каким я вас квасом-то угостил! А как ей помирать, в сорок пятом годе было… за год, что ль, заехал к кормилке своей, а она ему на росстанях и передала башмачки и шапочку, в каких его крестили. Припрятано у ней было. И покрестила его, чуяла, значит, свою кончину. Хоронили с альхереем, с певчими, в облачениях-раз-

облачениях… У нас и похоронена, памятник богатый, с золотыми словами: «Лежит погребёно тело… Московской губернии крестьянки Авдокеи Гавриловны Карцовой… души праведные упокояются»…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.